

ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

I. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И ВОПРОС О ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМАХ

Публикация И. Морозова

I

Публикуемая ниже рецензия написана Н. Г. Чернышевским. Она перепечатывается из «Современника» 1861 г. (т. 87, кн. 5, «Современное обозрение», стр. 161—172), где в свое время появилась без подписи автора. Авторство Чернышевского установлено лишь совсем недавно на основании вновь найденного собственноручного списка его произведений. (Список хранится в Москве, в частном собрании).

Перед нами — едкая и меткая критика вздорной апологетической брошюрки о Петре I — брошюрки, где действительно на каждом шагу «дичь и чепуха страшная», так что «из всей многословной болтовни нельзя вывести решительно никакой мысли, а не то, что еще какого-нибудь заключения за или против Петра». Главный интерес рецензии заключается, однако, не в сокрушительном, полном уничтожающего сарказма опровержении благоглупостей рецензируемого автора, а в том, что попутно высказывает сам рецензент по существу рассматриваемой темы.

С точки зрения Чернышевского в современной ему историографии вопрос о петровских реформах не только не получил сколько-нибудь основательной разработки, но даже не был правильно поставлен. «Бедный Петр, — говорит Чернышевский, — когда-то он дождется для себя хоть сколько-нибудь сносного историка, который бы взглянул на него прямо и смело, с исторической точки зрения и определил бы настоящую цену и достоинство его исторической деятельности. А то (не говоря о славянофилах, у которых ничего нельзя разобрать) до сих пор за историю его принимались или отчаянные панегиристы, которые в буквальном почти смысле были без ума от Петра, были совершенно ослеплены блеском его деяний, закрывали глаза, чтобы ничего не видеть и не понимать, падали пред ним ниц и повергались в прах; или же поддельные и натянутые смельчзки, комически важные и неподкупные судьи». Последние «quasi-историки Петра», обнаруживая «заносчивость моськи», изоцрялись во всякого рода мелочных придирках, вызывали столь же мелочную антикритику и таким образом превращали дело серьезного научного изучения петровских реформ в праздную болтовню человека, которому «решительно нечего делать» и который «от скуки придумывает разные вопросы, раскладывает, так сказать, исторический гранд-пасьянс», забывая головы читателей «страшной чепухой». Образцом такого рода «quasi-историков» и является зло высмеиваемый Чернышевским Задлер.

Отсюда, разумеется, вовсе не следует, будто сам Чернышевский отмахивается от конкретно-исторического анализа, считает никчемной детальную разработку фактической истории петровского времени даже во всех ее, казалось бы, малосущественных подробностях. «Конечно, — говорит он, — наука не должна

пренебрегать никакими мелочами и изучение мелочей очень часто приводит к важным результатам; и было бы очень хорошо, если бы при общей истории эпохи существовали частные подробные монографии не только о славнейших деятелях эпохи, но и других личностях, имевших к ним какое-нибудь отношение». Однако необходимость изучения «мелочей» исторического прошлого обусловлена у Чернышевского двумя решающими соображениями. 1) Историк уместно переходить ко второстепенным «мелочам» только после того как «порядочно исследованы и рассмотрены» относящиеся к теме «более общие и более крупные факты». 2) Мелочи представляют научный интерес не сами по себе, а лишь тогда и постольку, когда и поскольку помогают лучше понять «главное и существенное». Каковы же по Чернышевскому «более общие и более крупные факты» из истории петровских реформ? В чем видит Чернышевский «главное и существенное» произведенных Петром I преобразований? Ответ на эти вопросы мы получим, приведя в систему все важнейшие высказывания Чернышевского и его единомышленника Н. А. Добролюбова о петровских реформах. Вскрыть своеобразие точки зрения обоих революционных демократов «просветителей» всего естественнее путем сопоставления их взглядов на реформы Петра I со взглядами современных им представителей главных направлений помещичьей и помещичье-буржуазной историографии.

II

В период подготовки и проведения реформ 60-х годов XIX в. вопрос о петровских реформах для историографии и публицистики приобретает сугубую научную и политическую актуальность. Проводимые крепостниками буржуазные реформы 60-х годов перестраивали «чиновничьи-дворянскую монархию»¹, принявшую законченные очертания в результате петровских реформ: естественно, что к петровским реформам публицисты и историки 50—60-х годов XIX в. обращались как к историческим корням той полосы развития России, политические итоги которой подводила переживаемая этими публицистами и историками современность. Разбирая посвященные Петру I тома «Истории» С. М. Соловьева, Кавелин подчеркивал, что «для верной оценки Петра Великого наше время едва ли не самое благоприятное. Мы всеми путями порываемся выйти из того периода русской истории — периода заимствований у Европы — который он собою открыл и начал»². Сопоставление реформ 60-х годов XIX в., в частности готовящейся отмены крепостного права с петровскими реформами находим мы и у Чернышевского, который еще в начале 1858 г. в известной статье «О новых условиях сельского быта» писал: «С царствования Александра II начинается для России новый период, как с царствования Петра. История России с настоящего года будет столь же различна от всего предшествовавшего, как различна была ее история со времен Петра от прежних времен»³.

Помещичье-буржуазный либерал Кавелин и революционный демократ «просветитель» Чернышевский порывались выйти из периода русской истории, открывшегося петровскими реформами, совершенно различными путями. Отсюда и оценка ими «важнейшего явления нашей истории — реформы Петра Великого»⁴ была далеко неодинакова. Чернышевский, Кавелин и все остальные писавшие в это время о Петре I историки и публицисты освещали историческое прошлое светом политической современности, рассматривали социальные и государственные преобразования начала XVIII в. так или иначе в зависимости от своего отношения к подготовлявшимся и осуществлявшимся реформам 60-х годов XIX в. Чем более прогрессивным было то или иное направление общественной мысли в условиях революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х годов, тем ближе к объективной действительности удавалось подойти соответствующим историкам и публицистам при характеристике петровских реформ, хотя, конечно, подлинно научного, вполне адекватного действительности представления о петровских реформах тогда в России не дал и не мог дать еще никто.

III

В самом начале публикуемой ниже рецензии Чернышевский, вспоминая о том, казалось бы, недавнем времени, «когда исторические витии и риторы не находили достаточно сильных выражений для восхваления преславных деяний пресветлого «отца отечества», одного из таких «витий» и «риторов» называет прямо по имени. Это «Шевырев с «Москвитянином», которые «горой стояли за Петра и доказывали историческую и даже физическую необходимость самых мелочных преобразований петровых». С. П. Шевырев и его соратник по «Москвитянину» М. П. Погодин, будучи идеологами так называемой «официальной народности», выступает в 40-х годах безоговорочными апологетами реакционной помещичье-бюрократической монархии Николая I. Тем более значную почву для безудержной апологии открывает им эпоха петровских реформ — один из важнейших периодов в истории российского самодержавия, период, когда царизм был относительно прогрессивен.

Погодин считает правительственную власть, особенно царское самодержавие, главным и единственным двигателем прогресса в России на всех этапах исторического развития. Самодержавному государю обязана, по Погодину, Россия в частности и всеми своими культурными достижениями. «Кто доставляет нам, — рассуждает Погодин, — средство учиться, понимать себя, чувствовать человеческое свое достоинство? П р а в и т е л ь с т в о». И вот тут в качестве наиболее выразительной конкретно-исторической иллюстрации выдвигается «Петр Великий», который «насильно дает нам мирские книги в руки, представляет пример собою и тридцать лет держит над нами свою мощную десницу, опасаясь, чтоб мы не возвратились в прежний свой восточный заповедный круг»⁵.

Апологетическая характеристика петровских реформ дана Погодиным всего более развернуто в статье «Петр Великий». Статьей этой открывается первый номер «Москвитянина»⁶.

Погодин исходит из того, что «нынешняя Россия, т. е. Россия европейская, дипломатическая, политическая, военная, Россия коммерческая, мануфактурная, Россия школьная, литературная — есть произведение Петра Великого». А так как «нынешняя Россия» для Погодина — образец социально-политического совершенства, то столь же безупречными выглядят в его глазах и реформы, давшие этой «нынешней России» начало. Именно погодинскую статью имеет, конечно, в виду Чернышевский, напоминая читателям своей рецензии о том, как на страницах «Москвитянина» «доказывали историческую и даже физическую необходимость самых мелочных преобразований петровых». Такого рода доказательствам Погодин действительно посвящает не мало красноречивых тирад. «Что теперь ни думается нами, ни говорится, ни делается, — заключает он свою аргументацию, — все, труднее или легче, далее или ближе, повторяю, может быть доведено до Петра Великого. У него ключ — или замок».

Преклоняясь перед Петром I, Погодин в то же время усиленно подчеркивает, что начало всем петровским преобразованиям было положено «гораздо прежде» Петра I. В качестве одной из первоочередных тем для истории петровского времени он ставит вопрос о том, «в каком отношении были его [Петра] учреждения к прежним?», при чем сам убежден, что «многие его [Петра], по нашему и даже собственному его мнению, нововведения, суть ничто иное, как древние постановления, имеющие глубокий корень в русской почве, только в новых формах, с новыми именами». Провести такого рода точку зрения Погодину особенно важно потому, что «тогда вместе возвратится подобающая честь и нашей древней истории...» В итоге под пером Погодина Петр I выглядит не столько преобразователем, сколько «довершителем» того, что в основном было сделано задолго до него. Идеолог «официальной народности», сопротивляющийся каким бы то ни было существенным преобразованиям социально-политического строя Николаевской монархии, при рассмотрении крупных правительственных реформ

в прошлом старается придать им как можно более консервативный характер, стремится представить их минимальной ломкой старины.

Однако отношение представителей «официальной народности» к петровским реформам не отличалось особенной последовательностью. Только что рассмотренная статья Погодина, целиком оправдывавшая европеизацию России Петром I, плохо вязалась с неистовыми воплями погодинского соратника по «Москвитянину» Шевырева на тему о Западе, носящем в себе «злой заразительный недуг», окруженном «атмосферой опасного дыхания» германской реформации, а в особенности — Великой французской буржуазной революции⁷.

В годы, непосредственно предшествующие крестьянской реформе, вопрос о реформах Петра I продолжает оставаться для Погодина одним из важнейших вопросов русской истории, приобретая вместе с тем особую политическую злободневность⁸. Что же касается упоминаемого Чернышевским критического выступления, которое предпринял Погодин, «тронутый до слез несчастною судьбою царевича Алексея Петровича», то погодинские благочестивые сетования по поводу несколько излишней суровости великого императора в обращении с родным сыном, разумеется, не носили характера сколько-нибудь серьезной критики и петровских реформ.

Еще в 1829 г. Погодин высказал убеждение, что «гибель Алексея вообще была спасительна для Петровой России»⁹. Такое убеждение сохранил он и тридцать лет спустя, выступая со статьей, навеянной только что вышедшим VI томом «Истории Петра Великого» Устрялова: эту погодинскую статью и имеет в виду Чернышевский. «Какой же приговор произнесем мы Петру, по его делу с сыном, соображая все вышепредложенные обстоятельства?» — спрашивает Погодин, подробно изложив фактическую сторону темы. И отвечает: «Если велики были его вины, при производстве этого рокового дела, как будто требуемого таинственно самою историею, в образе искупительной жертвы, если велики были его увлечения и преступны различные меры, то не беспримерны ли, не чудны ли были прочие его действия и труды, непрерывно, между тем, продолжавшиеся?» Отсюда следует конечный вывод: осуждать Петра I и в данном случае никак нельзя, можно и должно только «молиться за упокой его тоскующей души»¹⁰.

IV

Несколько иначе рассматривают петровские реформы представители двух оформившихся еще в 40-е годы XIX в. направлений общественной мысли: «славянофилы» и «западники». Начнем со «славянофилов» — идеологов помещичьей реакции на развивающийся капитализм. Точке зрения «западников» «славянофилы» противопоставляют взгляд, получивший наиболее отчетливое выражение и историческое обоснование в относящихся как раз к 50-м годам XIX в. произведениях К. С. Аксакова, в частности, на страницах его известной записки 1855 г. «О внутреннем состоянии России». Согласно «славянофильскому» взгляду «Россия представляет в себе две стороны: государство и землю», при чем естественные взаимоотношения между этими обеими сторонами определяются крылатой формулой: «Правительству право действия и, следовательно, закона; народу — право мнения и, следовательно, слова»¹¹.

Такого рода взгляд объективно выражает собою недовольство «славянофилов» бюрократическими крайностями самодержавного режима, недовольство, вполне закономерное и в среде господствующего класса, поскольку «классовый характер царской монархии несколько не устраняет громадной независимости и самостоятельности царской власти и «бюрократии»¹². Что же касается апелляции «славянофилов» к интересам народа, то это призрачное народолюбие объективно имеет смысл той же социальной демагогии, о которой говорили К. Маркс и Ф. Энгельс применительно к феодальному социализму на Западе. «Чтобы возбудить сочувствие, — читаем мы по этому поводу в «Манифесте Коммунистической

«артии», — аристократия должна была сделать вид, что она уже не заботится о своих собственных интересах и составляет свой обвинительный акт против буржуазии только в интересах эксплуатируемого рабочего класса»¹³.

С охарактеризованной выше точки зрения подходят «славянофилы» и к петровским реформам, которым они дают отрицательную оценку, хотя у них и «нет намерения восставать на величие Петра, величайшего из великих людей». Социально-политические причины недовольства «славянофилов» петровскими реформами всего более четко представлены опять-таки в писаниях К. С. Аксакова. К. С. Аксаков считает время Петра I эпохой, «когда со стороны правительства, а не народа были нарушены начала гражданского устройства России, когда был оставлен русский путь»¹⁴. Суть «русского пути», оставленного Петром I, заключалась, по К. С. Аксакову, в том, что «правительство древней России было в тесном союзе с народом и уважало народ», прислушивалось к общественному мнению на вече, а позднее на Земских соборах¹⁵. Социальный строй допетровской Руси под пером «славянофильских» историков принимает идиллические черты. Если верить «славянофилам» — даже «крепостного состояния в России до Петра не было. Крепостное состояние есть дело преобразованной России»¹⁶.

В чем же видят «славянофилы» корень зла петровских реформ? Их прежде всего пугает «насилие, неотъемлемая принадлежность действий Петра». «Это насилие, — разъясняет К. С. Аксаков, — в свою очередь изменило все дело; что делалось доселе свободно и естественно, то стало делаться принужденно и насильственно. Поэтому преобразования Петра есть решительно уже революция, а в этом и заключается особенность и историческое значение его дела». Такого рода крайне неприятная для «славянофилов» особенность петровских преобразований неприятна им не просто сама по себе. «Славянофилы» видят пагубность «петровского пути» не только в том, что реформами Петра I (реформами, которые «славянофилам» представляются революцией) в свое время переломлен был весь «строй русской жизни»¹⁷, но и в том, что эти реформы, приведя к разрыву между царем и народом, создали постоянную и все растущую угрозу революционного взрыва для будущих времен — вплоть до близкой «славянофилам» современности.

Губительный разрыв и послужил главной причиной последующих политических потрясений — потрясений, которые все без разбора, от дворцового переворота, возведшего на престол Екатерину I, до восстания декабристов, фигурируют у К. С. Аксакова под одной и той же рубрикой «революционных попыток». К. С. Аксаков подчеркивает при этом, что имевшие место после Петра I «революционные попытки» неизменно предпринимались только ощутившими «в себе политическое властолюбие» представителями «верхних классов», «оторванных от народного быта», тогда как «народ, не изменивший русским началам», «все это время, как и следовало ожидать, был спокоен». Мнимое народное спокойствие представляется К. С. Аксакову лучшим доказательством того «как противна всякая революция русскому духу»¹⁸.

Но «петровская система», действующая уже целых полтора столетия, «начинает, наконец, проникать и в народ своею повидимому пустою, но вредною стороною», вытравляя благословенный «русский дух» и тем самым делая неизбежной близкую катастрофу. «Чем долее будет продолжаться петровская правительственная система», тем более, по мнению К. С. Аксакова, «будут колебаться основы русской земли, тем грознее будут революционные попытки, которые сокрушат наконец, Россию, когда она перестанет быть Россией»¹⁹.

Реакционный характер развернутой К. С. Аксаковым помещицкой концепции петровских реформ станет особенно ясным, если вспомнить в чем видели «славянофилы» суть «русского духа». Главные, наиболее дорогие «славянофильскому» сердцу «русские начала» это — смирение, долготерпение, чистота православной веры, беспримерное повиновение властям. Прочную «нравственную связь» между помещиками и крестьянами как наиболее надежную гарантию от революции,

связь, которая, с «славянофильской» точки зрения, налагала на феодально-крепостные отношения допетровской Руси отпечаток патриархальности и была раздавлена под колесами новой бюрократической машины Петра I, — вот что оплакивают «славянофилы», критикуя петровские реформы.

Укрепление «нравственной связи» между помещиками и крестьянами становится для «славянофилов» исключительно актуальным именно накануне крестьянской реформы, в условиях революционной ситуации конца 50-х—начала 60-х годов XIX в., когда наиболее здравомыслящие представители самого же «славянофильского» лагеря начинают говорить о том, что «прежняя безропотная покорность крепостных людей, доходившая иногда до изумительного самозабвения, слабеет с каждым поколением», что «крепостное право отживает свой век, становится в тягость и что терпение народное истощается»²⁰.

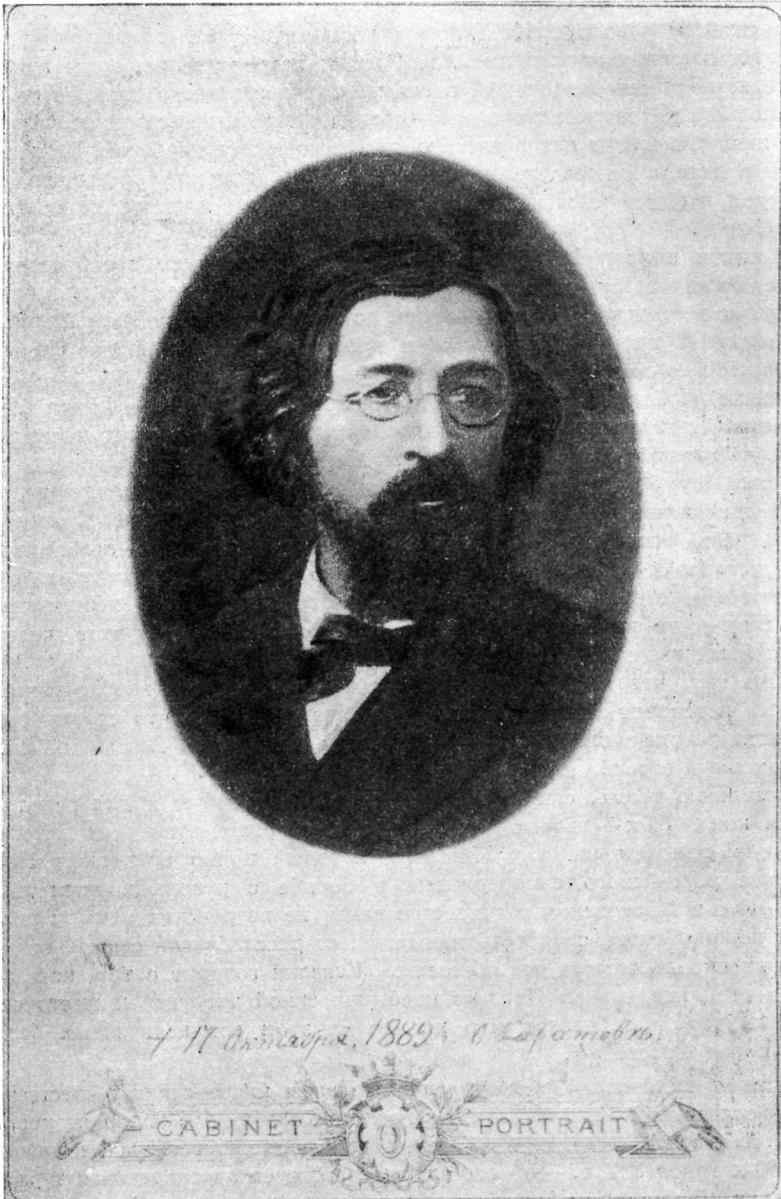
Вот почему теперь «славянофилы» особенно недовольны бюрократическими крайностями в работе Редакционных комиссий, вот почему так настойчиво добиваются они предоставления помещичьей общественности более широкой возможности обсуждать подготовляемую реформу, вот почему им кажется необходимым сохранение помещичьей «опеки» над крестьянами и после отмены крепостного права. При этом с точки зрения «славянофилов» сторонники бюрократических методов разрешения крестьянского вопроса обнаруживают «Либерализм деспотов-бюрократов, пивелизирующий, искажающий начала народной жизни, поклоняющийся петровской палке»²¹.

V

«Западники», в большинстве своем идеологи прусского пути развития капитализма, по отношению к петровским реформам занимают позицию, как будто бы прямо противоположную «славянофильской». Но противоположные выводы вырастают в данном случае на почве одной и той же исходной политической установки и эта общая исходная установка отчетливо демонстрирует единство классовой природы обоих рассматриваемых групп, борьба между которыми, по известной характеристике Ленина, не отражала собой «противоположность интересов труда и капитала»²².

Правое крыло «западников» в годы непосредственной подготовки и проведения крестьянской реформы также, как и «славянофилы», охвачено боязнью революционного взрыва, проникнуто непримиримой враждебностью к растущему в стране крестьянскому движению, к поднявшим знамя борьбы идеологам революционной демократии. Два наиболее крупных публициста право-«западнического» лагеря — К. Д. Кавелин и Б. Н. Чичерин, при всех взаимных расхождениях по ряду второстепенных вопросов, в этом решающем пункте своей политической программы совершенно единодушны²³. Корицей помещичье-буржуазной историографии С. М. Соловьев обосновывает антиреволюционные установки своих политических единомышленников опытом изучения исторического прошлого. «Народы в своей истории не делают прыжков»²⁴ — таков один из главных тезисов Соловьева, сказавшийся и на его оценке петровских реформ.

Величие петровской эпохи для людей типа Кавелина и Соловьева в том, что она «была, во всех отношениях, приготовлением, при помощи европейских влияний, к самостоятельной и сознательной народной жизни»²⁵. В своем стремлении связать петровские реформы с социально-политической современностью середины XIX в. представители помещичье-буржуазной историографии порою заходят даже дальше, чем следует, приписывая политике Петра I черты, на самом деле свойственные лишь временам, гораздо более поздним: характерна с этой точки зрения проскальзывающая местами у Соловьева тенденция представить Петра I чуть ли не провозвестником отмены крепостного права²⁶. Центральное звено помещичье-буржуазной концепции петровских реформ — мысль о том, что реформа Петра I, вопреки антиисторическим представлениям «славянофилов», «есть органическое продолжение старины, вытекла из нее необходимо и естественно, и представ-



Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Фотография 1860-х гг. с надписью В. И. Ленина
Институт Маркса—Энгельса—Ленина, Москва

СОВЕТСКИЙ

ляется нам каким-то скачком потому только, что вводилась у нас одним из величайших деятелей истории, который, своею необыкновенною личностью и делами, затмил обыденный ход нашей исторической жизни»²⁷.

Таким образом идеологи прусского пути развития капитализма, ожесточенные противники революционной ломки крепостничества, стремятся представить, с их точки зрения благотворные для России, петровские реформы преобразованием, не являвшимся революцией в смысле насильственного разрыва со стариной. Для Соловьева петровские реформы — «естественное и необходимое явление в народной жизни, в жизни исторического, развивающегося народа»²⁸. Петр же являлся «вождем в деле, а не создателем дела»²⁹, был «представителем стороны, смотревшей вперед, стремившейся к новому, стороны, не им созданной, но до него образовавшейся»³⁰.

Идеологи помещичье-буржуазных реформ, сторонники преобразования (далеко не последовательного, полукрепостнического, но все же преобразования) социально-политического строя России по образцу буржуазной Европы, разумеется, считают великим историческим прогрессом европеизацию форм русской жизни, имевшую место при Петре I.

Однако, и Соловьеву и Кавелину преобразования Петра I, при полной своей исторической закономерности, представляются все же актом, до известной степени, насильственным. И Соловьев и Кавелин называют петровские реформы революцией, а у Соловьева мы находим даже сравнительную характеристику российской «революции» начала XVIII в. и Великой французской буржуазной революции. «Во Франции,—подчеркивает при этом Соловьев,—слабое правительство не устояло и произошли известные печальные явления, которые до сих пор оказываются в стране; в России один человек, одаренный небывалою силою, взял в свои руки направление революционного движения, и этот человек был прирожденный глава государства»³¹. Таким образом, Петр I велик для Соловьева не только тем, что его реформы произвели исторически необходимый и благотворный переворот в жизни русского народа, но и тем, что своими реформами он обуздал революционную стихию, сумел предотвратить гибельный для России революционный взрыв.

Последнюю мысль, еще более отчетливо выраженную и для революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х годов XIX в., разумеется, политически крайне актуальную, находим мы и у Кавелина, который прямо восхваляет Петра I за укрепление российского самодержавия в борьбе с революционным движением. Отметив, что в Московском государстве накануне петровских реформ росли «волнения и неурядица», свидетельствовавшие «о расслаблении связей, которыми до тех пор крепко держалось все общество», Кавелин говорит о том, как явившийся «посреди этой неурядицы» Петр «с необыкновенной энергией и жестокостью подавляет смуты», и добавляет, что именно «в этом его величайшая бессмертная заслуга перед Россией»³².

А что представители рассматриваемого нами направления общественной мысли сами отчетливо представляли себе сугубо политическую злободневность такого рода «бессмертной заслуги» в условиях революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х годов XIX в. — об этом свидетельствует красноречивая тирада в воспоминаниях Соловьева. «Крайности — дело легкое, — пишет Соловьев, вспоминая о политической обстановке накануне крестьянской реформы, — легко было завинчивать при Николае, легко было взять противоположное направление и поспешно судорожно отвинчивать при Александре II; но тормозить экипаж при этом поспешном судорожном спуске было дело чрезвычайно трудное. Оно было бы легко при правительственной мудрости, но ее-то и не было». И дальше следует знаменательная историческая параллель: «Преобразования производятся успешно Петрами Великими; но беда, если за них принимаются Людовики XVI-е и Александры II-е. Преобразователь, вроде Петра Великого, при самом крутом спуске держит лошадей в сильной руке — и экипаж безопасен; но преобразо-

ватели второго рода пустят лошадей во всю прыть с горы, а силы сдерживать их не имеют, и потому экипажу предстоит гибель»³³.

Поскольку же для рассматриваемых нами представителей помещичье-буржуазной историографии «вся русская история, как древняя, так и новая, есть по преимуществу государственная, политическая»³⁴, поскольку с их точки зрения государство, т. е. помещичье самодержавие «было исходною точкою всего общественного развития России с XV века»³⁵, постольку Петр I — умелый строитель самодержавной империи — на страницах исторических работ Соловьева и Кавелина выступает в ореоле «великого народного воспитателя», как «вождь своего народа в великом движении, обхватившем весь организм народной жизни: о классовой природе петровского самодержавия тут, конечно, не может быть и речи. Соловьев, правда, вынужден признать, что петровские реформы сопровождались достаточно разорительным для народных масс усилением податного гнета, но по его мнению «все эти тяжести и труд русский народ должен был поднять временно, чтоб вдвинуть Россию в Европу и приобрести средства усиления и обогащения». Что же касается неприятных для «славянофилов» воспоминаний о петровской дубинке, то они в сознании Соловьева целиком заслонены радужной мыслью о том, что усилиями Петра I возникла «целая система учреждений, имевших воспитательное значение для народа» — система, показывающая, что «преобразователь употреблял другие, более действительные средства к тому, чтоб вывести русских людей из детского возраста относительно общественной жизни, и упразднить внешние, детские побуждения, упразднить дубинку»³⁶.

VI

Н. Г. Чернышевский и его ближайший единомышленник Н. А. Добролюбов противостоят всему фронту помещичьей и помещичье-буржуазной общественной мысли в целом. Чернышевский и Добролюбов — передовые бойцы революционной демократии, корифей русского «просветительства», их мировоззрение достигло огромной философской глубины и политической остроты в условиях революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х годов. «Если века рабства, — говорит Ленин, — настолько забили и притупили крестьянские массы, что они были неспособны во время реформы ни на что, кроме раздробленных, единичных восстаний, скорее даже «бунтов», не освещенных никаким политическим сознанием, то были и тогда уже в России революционеры, стоявшие на стороне крестьянства и понимавшие всю узость, все убожество пресловутой «крестьянской реформы», весь ее крепостнический характер. Во главе этих, крайне немногочисленных тогда, революционеров стоял Н. Г. Чернышевский»³⁷.

Изучению исторического прошлого, прежде всего — истории России, и Чернышевский, и Добролюбов придают очень важное значение: история для них — надежный ключ к уразумению современности, так как «исторические соображения многим людям помогают утвердиться в уверенности о необходимости и основательности решения, требуемого настоящим»³⁸. При этом Чернышевский, протестуя против пустой абстракции и схематизма, подчеркивает необходимость тщательно изучать исторические факты — отдельные исторические события, конкретных исторических деятелей. Он «вполне согласен... относительно того, что быт народов — самый важный предмет исторического знания», однако, по его мнению, «без истории в старом смысле слова, в смысле геродотовском, фукидидовском и т. д., хоть до Маколе и до Грота, до Нибура или Сисмонди, история быта необъяснима», ибо «крупные факты и крупные отдельные лица, конечно, результаты быта, но черты быта видоизменялись ими». Вот почему Чернышевский отнюдь не разделяет «пренебрежения к так называемой «внешней» истории, проповедуемого многими из ученых, занимающихся так называемую «историей культуры»»³⁹.

Исторические факты осмысливаются Чернышевским и Добролюбовым с точки

зрения интересов закабаленного, но поднимающегося на борьбу крепостного крестьянства: по глубокому убеждению обоих революционных демократов-«просветителей» «современное состояние исторических знаний и вообще просвещения» диктует историку необходимость руководствоваться в своем исследовании идеей «об отношении исторических событий к характеру, положению и степени развития народа», и потому «история самая живая и красноречивая будет все-таки не более как прекрасно сгруппированным материалом, если в основание ее не будет положена мысль об участии в событиях всего народа, составляющего государство»⁴⁰. Мысль эта пока встречается на страницах исторических трудов лишь в виде редкого исключения. Добролюбов, констатируя, что «множество есть историй, написанных с большим талантом и знанием дела, и с католической точки зрения, и с рационалистической, и с монархической, и с либеральной», ставит скорбный вопрос: «но много ли являлось в Европе историков народа, которые бы смотрели на события с точки зрения народных выгод, рассматривали, что выиграл или проиграл народ в известную эпоху, где было добро и худо для массы, для людей вообще, а не для нескольких титулованных личностей, завоевателей, полководцев и т. п.»⁴¹.

Задача создания такой подлинной народной истории — истории, главным содержанием которой должно служить изображение борьбы «трудящихся» с «дармоедами»⁴² — эта задача определяет собою и трактовку революционными демократами-«просветителями» петровских реформ. Установление правильного взгляда на петровские реформы Чернышевский и Добролюбов считают особенно важным и политически актуальным потому, что, с их точки зрения, характер этих реформ «совершенно соответствовал характер всей последующей государственной деятельности» и стало быть «взглядом на реформу, произведенную в начале XVIII века, определяется взгляд на продолжение этой реформы, до последнего времени»⁴³.

Преобразования Петра I представляются Чернышевскому и Добролюбову, конечно, закономерным продуктом предшествующего исторического развития — в этом отношении оба революционных демократа-«просветителя» выступают на стороне «западников» против «славянофилов». «Напрасно приверженцы старой Руси, — говорит Добролюбов, — утверждают, что то, что внесено в нашу жизнь Петром, было совершенно несообразно с ходом исторического развития русского народа и противно народным интересам»; по мнению самого Добролюбова, на Петра I следует смотреть «как на великого исторического деятеля, понявшего и осуществившего действительные потребности своего времени и народа, а не как на какой-то внезапной скачек в нашей истории, ничем не связанный с предыдущим развитием народа»⁴⁴. «Предыдущее развитие народа» Чернышевский и Добролюбов — опять-таки в противовес «славянофилам», и как будто бы вслед за «западниками» — рисуют достаточно безотрадным; эта безотрадная картина представлена особенно красочно Чернышевским — в его известной статье об изданном П. Бартевным «Собрании писем царя Алексея Михайловича»⁴⁵, Добролюбовым — в не менее замечательном разборе «Русской цивилизации» Жеребцова и в первой из статей, посвященных устряловской «Истории царствования Петра Великого»⁴⁶. При этом оба революционные демократа-«просветители», критикуя «славянофилов», противопоставляют их фантастическим представлениям «строго ученый взгляд новой исторической школы, главными представителями которой были гг. Соловьев и Кавелин»⁴⁷.

Но уже в изображении допетровской Руси налицо существенная черта, отчетливо размежевывающая Чернышевского и Добролюбова — с одной стороны, Соловьева и Кавелина, а тем более Чичерина — с другой. Чернышевский и Добролюбов, изучая допетровскую Русь, интересуются не столько развитием государственных принципов и учреждений, сколько реальным положением народа. Они протестуют против смешения «двух точек зрения: государственной и собственно

народной», ибо, по их мнению, в истории часты случаи, когда «или государственные интересы вовсе не сходятся с интересами народных масс, или между государством и народом являются посредники — в роде каких-нибудь сатрапов, мятарей и т. п., — не имеющие, конечно, силы унизить величие своего государства, но имеющие возможность разрушить благоденствие народа»⁴⁸.

Отсюда понятна и трактовка революционными демократами-«просветителями» реформ Петра I — трактовка резко отличная от всего высказываемого о петровских реформах современными Чернышевскому и Добролюбову представителями помещичьей и помещичье-буржуазной историографии. Революционно-демократическая «просветительская» концепция петровских реформ всего более законченно, лучше сказать — заостренно, сформулирована Чернышевским, который сам отлично понимал, что его взгляд на преобразования Петра I далеко не сходится с соответствующими представлениями даже людей, казалось бы, близких ему по литературному кружку «Современника». «Я имел о деятельности Петра Великого мнение, существенно различное от мнения того круга замечательных людей, в котором сформировался образ мыслей Некрасова (Белинский, Герцен, их друзья)», — пишет Чернышевский в своих позднейших заметках при чтении посмертного издания стихотворений Некрасова⁴⁹.

В чем своеобразие высказанного Чернышевским мнения о петровских реформах? На этот вопрос лучше всего ответить словами самого Чернышевского опять-таки из позднейшего письма к Пыпину, где Чернышевский сжато, но выразительно определяет и свою исходную установку и свои конечные выводы по интересующему нас вопросу. «Я смотрю на дело, — говорит в этом письме Чернышевский, — исключительно с точки зрения существенных интересов русского населения тогдашнего государства. Оно было бедно и невежественно. Ему нужно было облегчение лежавших на нем тяжестей. Петр увеличил их. Русским нужно было просвещение. Но было ли нужно принуждать их учиться у западных народов? Я полагаю, нет, потому что они сами имели, я полагаю, влечение к этому»⁵⁰.

Вся необычная новизна такой постановки вопроса о петровских реформах для публицистики и историографии интересующего нас периода станет особенно наглядной, если сопоставить взгляд Чернышевского на реформы Петра I с мнением о них не только представителей помещичьей и помещичье-буржуазной общественной мысли, но и двух крупнейших корифеев русского «просветительства», борющихся в одних с Чернышевским рядах революционной демократии. Имеем в виду Белинского и Добролюбова.

В. Г. Белинский выступает в 40-х годах XIX в. одиноким пока, непосредственным предшественником революционных демократов-«просветителей». Социально-политическая обстановка его эпохи — эпохи, когда, по известной характеристике Ленина «все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками»⁵¹ — не давала еще Белинскому возможности по всем вопросам и до конца отмежеваться от находившихся в одном с ним «западническом» лагере представителей помещичье-буржуазной общественности. Правда, «крестьянские «бунты», возрастаая с каждым десятилетием перед освобождением»⁵², еще за два десятилетия до этого «освобождения» вызывают к жизни публицистику Белинского, «настроение» которой объективно находится в зависимости «от настроения крепостных крестьян... от возмущения народных масс остатками крепостнического гнета»⁵³, но охваченный этим настроением публицист в революционную «самодетельность» крестьянства не верит, считает наивностью убеждение, будто «сам народ должен все для себя сделать», убежден, что на самом деле в истории «всегда и все делалось через личности»⁵⁴. Неудивительно, если сильная личность Петра I — европеизатора России — рождает в Белинском живейшую симпатию.

Еще в «Литературных мечтаниях» Белинский отозвался о Петре I, как об «олицетворенной мощи, олицетворенном идеале русского народа в деятельные

мгновения его жизни», как об «одном из тех исполинов, которые поднимали на рамена свои шар земной». Однако, в это время Белинского несколько смущала стремительность, с которой Петр проводил свои реформы. Просвещение, по мнению Белинского, «должно приниматься с благоразумной постепенностью, по сердечному убеждению, без оскорбления святыни праотеческих нравов». Русский народ не был достаточно подготовлен к петровским реформам; многое в них смущало его. Обучение народа надо было начинать «с азбуки, а не с философии, с училища, а не с академии». Этим именно Белинский и объясняет разрыв, произведенный реформами Петра между «народом», с одной стороны, и «обществом», с другой. «Какое же следствие вышло из всего этого? — спрашивает Белинский, и отвечает: — Масса народа упорно осталась тем, что и была; но общество пошло по пути, на который ринула его мощная рука гения». Позднее, по мере эволюции общих политических взглядов Белинского, взгляд его на подготовленность русского народа к петровским реформам изменился. «Петр, — пишет теперь Белинский, — действовал совершенно в духе народном, сближая свое отечество с Европою и искореняя то, что внесли в него татары временно азиатского»⁵⁶. Не имея возможности до конца разобраться в социальной политике царского самодержавия, Белинский думает, что и в его время «для России нужен новый Петр Великий»⁵⁶.

Белинский остается плененным гегельянской философией истории, по вопросу о роли великих исторических деятелей следует даже эпигонской трактовке гегельянства, в частности же возвеличение Петра I и его реформ из всех представителей «западнического» лагеря 40-х годов XIX в. именно у Белинского — «человека экстремы»⁵⁷ — находит себе особенно темпераментное выражение.

Чернышевский и Добролюбов — непримиримые враги самодержавия, политические бойцы, закалившиеся в условиях революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х годов XIX в., революционеры, держащие курс на крестьянское восстание, — естественно, рассматривают иначе, чем Белинский, и политику царизма в прошлом; в частности петровские реформы.

Добролюбовская концепция петровских реформ знаменует собою огромный шаг в сторону преодоления помещичье-буржуазной апологии Петра I и проведенных им преобразований. Знаменитые критические статьи Добролюбова, посвященные работам о Петре I казенного историографа Устрялова⁵⁸, содержат не только мастерской, основанный на большом знании материала, разбор взглядов и методов исследования критикуемого автора, но и ряд важных высказываний самого критика по существу рассматриваемой темы. Добролюбов считает петровские преобразования правительственным мероприятием, предотвратившим революционный взрыв; с его точки зрения «внимательное рассмотрение исторических событий и внутреннего состояния России в XVII столетии может доказать, что Петр, рядом энергических правительственных реформ, спас Россию от насильственного переворота, которого начало оказалось уже в волнениях народных при Алексее Михайловиче и в бунтах стрельческих»⁵⁹. Именно поэтому петровские реформы, по мысли Добролюбова, не внесли особенно существенной перемены в народный быт — вопреки мнению тех, кто обращает внимание преимущественно на внешние формы жизни и управления, в которых Петр действительно произвел резкое изменение. Добролюбов стремится доказать, что положение народа в результате петровских реформ по сути дела не улучшилось, что Петр I не изменил системы феодально-крепостнического самодержавия, в ее социальных основах. «Признавая живую и непосредственную связь древней Руси с новой», он совсем не восторгается «новым потому только, что оно не старое». «Как ни круг и резок кажется переворот, произведенный в нашей истории реформой Петра, — говорит Добролюбов, — но если всмотреться в него пристальнее, то окажется, что он вовсе не так окончательно порешил с древнею Русью, как воображает, с глубоким прискорбием, большая часть славянофилов... Древняя Русь не могла внезапно исчезнуть вместе с обритыми бородами. Она вовсе не так далеко от нас,

чтобы представлять ее нам каким-то раем земным, населенным чуть ли не ангелами. Поверьте —

И прежде плакал человек,
И прежде кровь лилась рекою.

И после нас — опять будет плакать человек, и кровь будет литься»⁶⁰.

Больше того. В последней из статей Добролюбова по поводу устряловской истории — в статье, посвященной ее VI тому и специально рассматривающей «Сведения о жизни и смерти царевича Алексея Петровича» — особенно подчеркивается вся тяжесть того гнета, которым легли петровские преобразования на народные массы. Именно в этом разорительном для народа гнете справедливо видит Добролюбов причину того, «почему массы в простоте своей не ослеплялись славою полтавской виктории, не восторгались множеством кораблей на Неве и маршировавшими в ногу мускетерами и пикинерами, а пили за здоровье слабого царевича и видели в нем свою надежду». Объяснение народной «привязанности к царевичу», по Добролюбову, следует искать «не в том, что Алексей толковал о старцах от писаний, что он не любил нововведений, а также, что желал погибели Петербурга, а в причинах, которые увлекали народные массы за Разиным, Пугачевым, и которые главнейше зависели от недовольства обычным ходом жизни и существовавшими порядками»⁶¹. Последняя, столь характерная для идеолога революционной демократии, мотивировка объясняет нам, почему и Чернышевский в публикуемой ниже рецензии придает серьезный интерес делу царевича Алексея, — делу, которое, с точки зрения Чернышевского, «представляет много сторон неразъясненных, много фактов сомнительных».

Если к только что сказанному прибавить еще мастерское разоблачение той ходячей героики, ореолом которой окружалась у верноподданных историков, в частности у Устрялова, самая личность первого российского императора, если вспомнить, как едко и убедительно аргументировал Добролюбов мысль о том, что реформаторские начинания Петра I как и «все великие планы, высокие идеи, сложные замыслы, ограничиваются обыкновенно достижением ближайшей цели», что, вопреки «мистическому» представлению, будто «вся жизнь Петра была посвящена заботе о благе его подданных», Петр I «вовсе не хотел лишаться тех преимуществ, которые доставлял ему... высокий сан его» и «в матросской куртке, с топором в руке... также грозно и властно держал свое царство, как и его предшественники, облеченные в порфиру и восседавшие на золотом троне, со скипетром в руках»⁶², если, повторяю, вспомнить все это в дополнение к сказанному выше, критическая сторона интересующей нас концепции Добролюбова достигнет предельной выразительности.

И однако, при всем своем сугубом критицизме в оценке петровских реформ, Добролюбов считает Петра I гениальным историческим деятелем, громадное значение и заслуга которого заключались в том, что он «разрешил вопросы, уже давно заданные правительству самою жизнью народной». Тем самым, правильно подчеркивая относительную прогрессивность петровских реформ, Добролюбов остается не до конца освобожденным от «просветительской» иллюзии о надклассовой природе самодержавия Петра I — хотя самая эта иллюзия носит у него конечно иной характер, чем у Соловьева; с точки зрения Добролюбова — «Петр является в нашей истории как олицетворение народных потребностей и стремлений, как личность, сосредоточившая в себе те желания и те силы, которые по частям рассеяны в массе народной»⁶³.

У самого Чернышевского на страницах его ранних произведений мы находим признание благотворности петровских реформ для России. Чернышевскому представляется, что «вся общественная и умственная жизнь в XIV — XVI веках подверглась влиянию неподвижности, застоя, оцепенелости, окончательным результатом чего была необходимость преобразований Петра Великого»⁶⁴. Петр I для Чернышевского в эту пору — «идеал патриота», которого всю жизнь

«одушевляло «беспредельное желание блага родине». Чернышевский считает первоочередной задачей каждого «содействие, по мере сил, дальнейшему развитию того, что начато Петром Великим», он убежден, что «русский, у кого есть здравый ум и живое сердце, до сих пор не мог и не может быть ничем иным, как патриотом, в смысле Петра Великого — деятелем в великой задаче просвещения русской земли»⁶⁵.

Однако, в ходе дальнейшей политической борьбы, по мере обострения классовых противоречий эпохи реформ XIX в., какие бы то ни было следы положительной оценки Чернышевским петровских преобразований окончательно исчезают — Чернышевский уже не делает уступок «хвалителям Петра»⁶⁶. Как раз к моменту наивысшего подъема революционной деятельности Чернышевского, естественно совпадающему с кульминационным периодом революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х годов XIX в., относятся замечательные предисловие и послесловие к «Апологии сумасшедшего» Чаадаева — рукопись, предназначавшаяся для «Современника» 1861 г., в свое время, повидимому, не пропущенная царской цензурой и напечатанная наконец только восемь лет тому назад⁶⁷. Здесь революционно-демократическая «просветительская» концепция петровских реформ дана политически чрезвычайно остро. Чернышевский протестует против апологетической оценки Петра I, восторженным отношением к которому пленен был некогда даже такой «человек большого ума», как Чаадаев. Впрочем для Чаадаева иллюзорное представление о петровских реформах кажется Чернышевскому протистительным, если вспомнить младенческое состояние современной молодому Чаадаеву русской историографии. «Пока не разработали источников — а это было уже после молодости Чаадаева, — говорит Чернышевский, — не могли различить даже того факта, что целью деятельности Петра было создание сильной военной державы. Это простое и естественное стремление великого реформатора было закрыто от наших глаз туманом всяких пышных фраз». С такой точки зрения ведущим звеном всех петровских преобразований выступает военная реформа, ибо именно «заявившись мыслью устроить самостоятельное русское войско в таком виде, как существовало войско у немцев и шведов», Петр I «по своей энергической натуре развил это стремление очень далеко и, заимствуя у немцев или шведов военные учреждения, заимствовал кстат, мимоходом и все вообще, что встречалось его взгляду. Но эти прибавки были уже только делом второстепенным, не важным, а главное дело составляли военные учреждения». Так как «некоторые из его подданных стали роптать и противиться», Петр I, «как человек пылкий и настойчивый», повел дело достаточно круто и, в частности, для более успешной борьбы с сопротивлением подданных «ввел другую администрацию, взяв ее у немцев или шведов, не потому, что немецкие административные формы были тогда лучше русских — во-первых, они едва ли были лучше, во-вторых, и не на эту сторону обращалось внимание, — нет, просто потому, что прежние враждебные формы надобно было заменить другими, которые были бы удобнее для своего учредителя». Таким образом, столь прославленная апологетами Петра I европеизация России в трактовке Чернышевского оказывается ничем иным, как преобразованием, имевшим целью укрепить военные силы и бюрократический аппарат российского самодержавия. При этом Чернышевский, подобно Добролюбову, подчеркивает, что петровские реформы, как мероприятия, проведенные исключительно в интересах правительственной власти, нисколько не изменили строя народной жизни по существу, не облегчили положения народа. «Петра Великого, — говорит Чернышевский, — иные порицают за то, что он ввел к нам западные учреждения заменившие нашу жизнь. Нет, жизнь наша ни в чем не изменилась от него, кроме военной стороны своей, и никакие учреждения, им введенные, кроме военных, не оказали на нас никакого нового влияния. Имена должностей изменились, а должности остались с прежними атрибутами и продолжали отправляться по-прежнему по способу... Напрасно думают, что реформа Петра Великого изменяла в чем-нибудь состояние русской нации. Она только изменяла положение русского

Собр. 1861 № 2. Предисловие к изданию Очерков Волков.

102

Этнографическое описание Волков и окрестностей?

№ 3 (1861) Сочин. Писемского.

№ 4 (1862) Жит. князя воев. Рязанска. Коп. 1872 г. в
Сибирь Д. Сиб.

№ 5. Очерки о снах новгородцев.

(1871) Очерки о снах владений Рязань.

(1861) Пут. заметки Мухоморова. Коп. в М. в.

Мухоморов о снах новгородцев. Восток и запад
описанием Рязань вост. Запад.

№ 6. (1871) Норманские предания о новгородцах
Писемского Крафт. Соч.

№ 7. (1871) Каким образом достигли новгородцы

(1871) Коп. в М. в.

Собр. 1861 № 10. (1871) Русские предания о новгородцах.

Норманские предания о новгородцах.

№ 11 (1871) Не удалось ли переписать?

№ 12 (1861) Восточные предания о новгородцах. Сибирь
№ 1861. Записки о новгородцах о новгородцах

Указание о новгородцах в летописях новгородцев
и новгородцев в летописях новгородцев
и новгородцев в летописях новгородцев
и новгородцев в летописях новгородцев

Сочин. по Мухоморову № 6. 8. 9. 10. 11.

Копия о новгородцах № 1861.

Собр. 1862 № 1. (1861) Очерки о новгородцах. Коп. 1861.

Очерки о новгородцах в летописях новгородцев
и новгородцев в летописях новгородцев

№ 2. Очерки о новгородцах в летописях новгородцев

и новгородцев в летописях новгородцев
и новгородцев в летописях новгородцев

№ 3. Сочинение о новгородцах в летописях новгородцев

и новгородцев в летописях новгородцев

(1861) Очерки о новгородцах в летописях новгородцев

№ 4. Очерки о новгородцах в летописях новгородцев

и новгородцев в летописях новгородцев

№ 1. Очерки о новгородцах в летописях новгородцев

и новгородцев в летописях новгородцев

царя в кругу европейских государей. Прежде он не имел в их советах сильного голоса, теперь получил его, благодаря хорошему войску, созданному Петром».

Отсюда уже один шаг до той решительной формулировки из позднейшего письма к Пыпину, которую мы цитировали выше. В статье, предназначавшейся для печати, Чернышевский этого шага не делает, но на страницах родственного письма взгляд Чернышевского находит себе совершенно законченное и недвусмысленное выражение. «Россия была бедна; Петр разорил ее (это засвидетельствовано его помощниками, собравшимися на совещание о делах по его смерти). Русский народ имел уже влечение учиться. Петр, насколько мог, внушил ему ненависть к просвещению», — вот резюме рассуждений Чернышевского в письме к Пыпину⁶⁸, при чем Чернышевский подчеркивает, что такого рода отрицательной точки зрения на петровские реформы он держался еще в те годы, когда возглавлял «Современник»⁶⁹.

VII

От безоговорочной апологии Петра I и его преобразований до категорического утверждения об отрицательной исторической роли петровских реформ — таков диапазон представленных нами классово-разнородных оценок. Наша статья, разумеется, не исчерпывает поставленной темы во всех ее деталях. Нам казалось более целесообразным, при характеристике точки зрения на петровские реформы представителей основных направлений общественной мысли середины XIX в., ограничиться анализом высказываний лишь наиболее крупных историков и публицистов: сравнительно второстепенные сознательно оставлены нами в стороне, даже в тех случаях, когда они довольно много писали именно в предреформенные годы и специально о Петре I (как напр. П. К. Щербальский).

Что представители помещичьей и помещичье-буржуазной историографии были бессильны вскрыть истинный характер петровских реформ — это достаточно ясно из предыдущего. Но и «крупнейшие идеологи революционной демократии, корифеи русского «просветительства», при всей научной глубине и политической остроте развернутой ими концепции, так же не дали вполне адекватного действительности представления о петровских реформах. В этом вопросе, как и в общей системе миросозерцания Чернышевского и Добролюбова, сказалась исторически обусловленная ограниченность революционных демократов-«просветителей», которые были пленены историческим идеализмом, не владели оружием материалистической диалектики, ибо даже Чернышевский который «сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников» — даже Чернышевский «не сумел, вернее: не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса»⁷⁰. Добролюбов, в изображении которого Петру I присущи некоторые черты чуть ли не народного царя-«просветителя» своей страны, оказывается бессильным дать сколь-нибудь отчетливый классовый анализ петровского самодержавия. Чернышевский — смертельный враг царизма в настоящем, со всей беспощадностью разоблачает эксплуататорский характер царской политики и в прошлом, но при этом оказывается неспособным оценить относительную прогрессивность самодержавия на определенных этапах исторического развития, в определенной конкретно исторической обстановке, в частности, в эпоху петровских реформ. К чести обоих революционных демократов-«просветителей» нужно сказать, что они сами признавали некоторую неудовлетворительность развернутой ими концепции, подчеркивали трудность, почти невозможность «избрать для какого-либо сочинения правильную и независимую точку зрения на события нашей новейшей истории именно потому, что они и в жизни современного нам общества еще продолжают во многом, еще не составляют прошедшего, совершенно законченного для нас»⁷¹.

Подлинно научную, единственно правильную трактовку петровских реформ может дать и дает только марксизм. Именно у классиков марксизма мы находим

четкую классовую характеристику самодержавия Петра I, который, по известному определению И. В. Сталина, «сделал много для возвышения класса помещиков и развития нарождавшегося купеческого класса... для создания и укрепления национального государства помещиков и торговцев», при чем «возвышение класса помещиков, содействие нарождавшемуся классу торговцев и укрепление национального государства этих классов происходило за счет крепостного крестьянства, с которого драли три шкуры»⁷². Именно классики марксизма, в лице В. И. Ленина, являют блестящий образец диалектического подхода к реформам Петра I — реформам, которые в конкретных условиях исторического развития первой четверти XVIII в., имели относительно прогрессивный характер, ибо «Петр ускорил перенятие западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства»⁷³. С такой же точки зрения рассматривает петровские реформы и И. В. Сталин: определяя исторический смысл промышленной политики Петра I, он подчеркивает ее относительную прогрессивность и вместе классовую ограниченность. «Когда Петр Великий, — говорит Сталин, — имея дело с более развитыми странами на Западе, лихорадочно строил заводы и фабрики для снабжения армии и усиления обороны страны, то это была своеобразная попытка выскочить из рамок отсталости. Вполне понятно, однако, что ни один из старых классов, ни феодальная аристократия, ни буржуазия, не мог разрешить задачи ликвидации отсталости нашей страны»⁷⁴. Не говорим уже о классическом анализе петровской политики в «Секретной дипломатии» К. Маркса. Характерно при этом, что Ленин, говоря о европеизации России в прошлом, отмечает, что «эта европеизация вообще идет с Александра II, если не с Петра Великого». Таким образом, прямо связываются друг с другом, как два важнейших периода, когда «Россия, вообще говоря, европеизируется, т. е. перестраивается по образу и подобию Европы», эпоха петровских реформ и реформ середины XIX в.⁷⁵ Тем более, стало быть, закономерна постановка нашей темы.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ В. И. Ленин «Наши упразднители». — Соч. т. XV, стр. 83, здесь и всюду ниже ссылки по 2-му изданию.

² «Мысли и заметки о русской истории». — «Вестник Европы» 1866, кн. 2. Собр. соч. т. I, стр. 587.

³ Полн. собр. соч. СПб, 1906, т. IV, стр. 53 — 54.

⁴ Н. Г. Чернышевский, «Очерки гоголевского периода русской литературы» (1855 — 1856). — Полн. собр. соч. СПб, 1906, т. II, стр. 163.

⁵ «Взгляд на русскую историю» (1832). М. Погодин «Историко-критические отрывки», М. 1846, стр. 8—9.

⁶ См. «Москвитянин», ч. I, № 1, М. 1841, стр. 3—29. В дальнейшем при цитации этой статьи мы позволяем себе не ссылаться каждый раз на отдельные ее страницы, чтобы не загромождать текста чрезмерным обилием ссылок.

⁷ См. известный «Взгляд русского на современное образование Европы», появившийся в той же книжке «Москвитянина», что и погодинская статья о Петре I. Стр. 247—248.

⁸ Недаром, набрасывая в 1858 г. программу предполагаемых студенческих бесед, Погодин для бесед по русской истории выдвигает в качестве первоочередных две явно перекликающиеся друг с другом темы: 1) историю Петра I, «к которому все мы, так или иначе, имеем отношение, с которым все мы связаны органическими узами», и 2) крепостное право — «животрепещущий вопрос в истории нашей гражданской жизни» (Н. Барсуков. «Жизнь и труды М. П. Погодина», кн. 17, стр. 7—9).

⁹ Н. Барсуков, «Жизнь и труды М. П. Погодина» кн. 2, стр. 398.

¹⁰ Статья Погодина «Суд над цесаревичем Алексеем Петровичем. Эпизод из жизни Петра Великого» была напечатана в журнале «Русская Беседа» (1860, I), отд. Науки, стр. 1—110).

¹¹ Сборн. «Ранние славянофилы», сост. Н. Л. Бродский, М. 1910, стр. 80, 96. Всюду ниже записка К. С. Аксакова цитируется также по этому сборнику.

¹² В. И. Ленин, «О дипломатии Троцкого и об одной платформе партийцев» — Соч., т. XV, стр. 304.

- ¹³ К. Маркс и Ф. Энгельс, Манифест коммунистической партии. 1932, стр. 36.
- ¹⁴ Записка, стр. 84.
- ¹⁵ По поводу VI тома История России г. Соловьева (1856).— Полн. собр. соч., т. I, М. 1889, стр. 161.
- ¹⁶ По поводу «Белевской вивлиофики», изданной Н. А. Елагиным (1858).— Полн. собр. соч., т. I, 1889 г., стр. 489.
- ¹⁷ «Несколько слов о русской истории, возбужденных Историею г. Соловьева» (1851).— Полн. собр. соч., т. I, М. 1889, стр. 46—47.
- ¹⁸ Записка, стр. 86—87. Свой спасительный для помещиков тезис «славянофильский» историк аргументирует даже ссылкой на пугачевское восстание, когда «обманчивым знаменем» борьбы было «имя законного государя». (Там же, стр. 87).
- ¹⁹ Записка, стр. 88.
- ²⁰ Ю. Ф. Самарин, Записка 1854—56 гг. «О крепостном состоянии и о переходе из него к гражданской свободе».— Соч., т. II, стр. 64—66.
- ²¹ Письмо И. С. Аксакова И. С. Тургеневу от 26 октября 1859 г. Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 17, 1903, стр. 130. См. также письмо К. С. Аксакова кн. В. А. Черкасскому по поводу утверждения 25 июля 1859 г. общим присутствием редакционных комиссий доклада административного отделения № 5 о сельских сходах; там же, стр. 111—116 и письмо А. С. Хомякова Ю. В. Самарину от 3 октября 1858 г. А. С. Хомякова.— Соч., т. VIII, 1900, стр. 296—302.
- ²² В. И. Ленин, «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве».— Соч., т. I, стр. 279.
- ²³ Сравн. известную «Записку об освобождении крестьян в России» Кавелина (Собр. соч., т. II, особенно стр. 32—37, 54—55) и статью Чичерина «О крепостном состоянии», помещенную без подписи автора в «Голосах из России», вып. I, ч. 2, 1856, стр. 212.
- ²⁴ «Публичные чтения о Петре Великом» (1872).— Собр. соч., изд. «Общ. польза», стр. 1108.
- ²⁵ К. Д. Кавелин, «Мысли и заметки о русской истории» (1866).— Собр. соч., т. I, стр. 674.
- ²⁶ Подробнее об этом см. в ст. С. Бантке «Петровская реформа в освещении С. М. Соловьева».— «Историк-Марксист», т. 13, 1929, стр. 146.
- ²⁷ К. Д. Кавелин, «Мысли и заметки о русской истории» (1866).— Собр. соч., т. I, стр. 668.
- ²⁸ «Публичные чтения о Петре Великом» (1872).— Собр. соч., изд. «Общ. польза», стр. 980.
- ²⁹ «История России с древнейших времен», т. XIV. М. 1864, стр. 104.
- ³⁰ Разбор «Истории царствования Петра Великого», А. Устрялова.— Ст. I «Атеней», № 27, 1858, стр. 9.
- ³¹ «История России с древнейших времен», т. XIV, М. 1864, стр. 103—104.
- ³² «Мысли и заметки о русской истории» (1864).— Собр. соч., т. I, см. соответственно стр. 647, 671.
- ³³ С. М. Соловьев, Записки. Изд. «Прометей», стр. 168.
- ³⁴ К. Д. Кавелин, Разбор «Истории отношений между русскими князьями Рюрикова дома» С. М. Соловьева (1847—1848).— Собр. соч., т. I, стр. 277.
- ³⁵ К. Д. Кавелин, Разбор кн. Б. Н. Чичерина, «Областные учреждения России в XVII веке» (1856).— Собр. соч., т. I, стр. 541.
- ³⁶ С. М. Соловьев, «Публичные чтения о Петре Великом» (1872).— Собр. соч., изд. «Общ. польза», см. соответственно стр. 1072, 1060, 1067, 1095.
- ³⁷ В. И. Ленин, «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция.— Соч., т. XV, стр. 143.
- ³⁸ Н. Г. Чернышевский. Рецензия на «Магазин земледения и путешествий», изд. Н. Фроловым (1855). Полн. собр. соч., СПб, 1906, т. I, стр. 224.
- ³⁹ Письмо к сыну Михаилу из Вилюйска от 3 марта 1882 г. «Чернышевский в Сибири», в. III, СПб, 1913, стр. 182.
- ⁴⁰ Н. А. Добролюбов, «Первые годы царствования Петра Великого», ст. I (1858).— Полн. собр. соч., т. III, 1936, стр. 119—120.
- ⁴¹ «О степени участия народности в развитии русской литературы» (1858).— Полн. собр. соч., т. I, 1934, стр. 211.
- ⁴² Н. А. Добролюбов, «Русская цивилизация», соч. г. Жеребцовым, ст. II (1858).— Полн. собр. соч., т. III, 1936, стр. 267.
- ⁴³ Н. Г. Чернышевский, Предисловие и послесловие к «Апологии сумасшедшего» П. Я. Чаадаева.— Сборн. «Николай Гаврилович Чернышевский». 1828—1928. Неизданные тексты, материалы и статьи. Саратов, 1928, стр. 69.
- ⁴⁴ «Первые годы царствования Петра Великого», ст. I (1858).— Полн. собр. соч., т. III, 1936, стр. 129—130.

- ⁴⁵ См. Полн. собр. соч., СПб, 1906, т. III, стр. 71—85. Статья относится к 1857 г.
- ⁴⁶ См. Полн. собр. соч., т. III, 1936, стр. 114—136 и 220—283.
- ⁴⁷ Н. Г. Чернышевский, «Очерки гоголевского периода русской литературы» (1855—1856).— Полн. собр. соч., СПб, 1906, т. II, стр. 163.
- ⁴⁸ Н. А. Добролюбов, «Первые годы царствования Петра Великого», ст. I (1858).— Полн. собр. соч., т. III, 1936, стр. 124.
- ⁴⁹ Заметки являлись приложением к письму к А. Н. Пыпину от 17 июня 1886 г.— Н. Г. Чернышевский, Литературное наследие, т. III, 1930, стр. 489.
- ⁵⁰ Письмо от 7 декабря 1886 г.— Н. Г. Чернышевский, Литературное наследие, т. III, стр. 193.
- ⁵¹ «От какого наследства мы отказываемся?».— Соч., т. II, стр. 315.
- ⁵² В. И. Ленин «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция.— Соч., т. XV, стр. 143.
- ⁵³ В. И. Ленин. «О «Вехах»». — Соч., т. XIV, стр. 219.
- ⁵⁴ Письмо к П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 г. Письма, ред. и прим. Е. А. Ляцкого, т. III, СПб, 1914, стр. 338—339.
- ⁵⁵ «Литературные мечтания» (1834) и статья о голиковских «Деяниях Петра Великого» и др. (1841).— Полн. собр. соч. под ред. и с примечаниями С. А. Венгерова. См. соответственно т. II, стр. 327—328 и т. VI, стр. 131. Последние слова взял в качестве эпиграфа к первой из своих статей об Устряловской «Истории» Добролюбов.
- ⁵⁶ Письмо к П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 г. Письма, ред. и прим. Е. А. Ляцкого, т. III, СПб, 1914, стр. 339.
- ⁵⁷ А. И. Герцен. Дневниковая запись 14 ноября 1842 г.— Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. III, стр. 55.
- ⁵⁸ Добролюбов, сопоставляя Устрялова с Карамзиным, вполне основательно считает, что «в существенных чертах оба они имеют большое сходство между собою». («Первые годы царствования Петра Великого», ст. I, 1858, Полн. собр. соч., т. III, 1936, стр. 119).
- ⁵⁹ «Первые годы царствования Петра Великого», ст. I (1858).— Полн. собр. соч., т. III, 1936, стр. 130. Подробнее об этом см. в ст. А. В. Предтеченского. «Исторические воззрения Добролюбова». Известия АН СССР по отд. общ. наук, 1936, № 1—2, стр. 93—116.
- ⁶⁰ «Русская цивилизация», соч. г. Жеребцовым, ст. II (1858).— Полн. собр. соч., т. III, 1936, стр. 283.
- ⁶¹ «Сведения о жизни и смерти царевича Алексея Петровича». «Современник», т. XXIX, 1860, январь, «Современное обозрение», стр. 79.
- ⁶² «Первые годы царствования Петра Великого», ст. III (1858).— Полн. собр. соч., т. III, 1936, стр. 169, 170, 193, 195.
- ⁶³ Там же, стр. 129, 202—203.
- ⁶⁴ Разбор соч. П. Медовикова: «Историческое значение царствования Алексея Михайловича» (1854).— Полн. собр. соч., СПб, 1906, т. I, стр. 170.
- ⁶⁵ «Очерки гоголевского периода русской литературы» (1855—1868).— Полн. собр. соч., 1906, т. II, стр. 120—122.
- ⁶⁶ Письмо к А. Н. Пыпину от 7 декабря 1886 г.— Н. Г. Чернышевский, Литературное наследие, т. III, 1930, стр. 193.
- ⁶⁷ Сборник «Николай Гаврилович Чернышевский. Неизданные тексты, материалы и статьи». Саратов, 1928, стр. 51—72. По этому изданию приводятся все наши дальнейшие цитаты.
- ⁶⁸ Письмо от 7 декабря 1886 г. Н. Г. Чернышевский, Литературное наследие, т. III, 1930, стр. 194.
- ⁶⁹ Заметки при чтении посмертного издания стихотворений Н. А. Некрасова (1886) — Н. Г. Чернышевский, Литературное наследие, т. III, 1930, стр. 489.
- ⁷⁰ В. И. Ленин, «Материализм и эмпириокритицизм». — Соч., т. XIII, стр. 295.
- ⁷¹ Н. А. Добролюбов, «Первые годы царствования Петра Великого», ст. I (1858).— Полн. собр. соч., т. III, 1936, стр. 122.
- ⁷² Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом. 13 декабря 1931 г.— «Большевик», 1932, № 8, стр. 33.
- ⁷³ «О «левом» ребячестве и мелкобуржуазности». — Соч., т. XXII, стр. 517.
- ⁷⁴ Об индустриализации и о правом уклоне в ВКП. Речь на пленуме ЦК ВКП(б) 19 ноября 1928 г.— «Вопросы ленинизма», 1931, стр. 499.
- ⁷⁵ «Возрастающее несоответствие». — Соч., т. XVI, стр. 314.

ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПРАВДАНИЯ ПЕТРА I, ПРОТИВ ОБВИНЕНИЙ НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ. КАРЛА ЗАДЛЕРА

С.-Петербург. 1861

Удивительное дело, как скоро и как резко изменились ходячие, общепринятые мнения о Петре Великом! Давно ли, кажется, было время, когда исторические витии и риторы не находили достаточно сильных выражений для восхваления преславных деяний пресветлого «отца отечества», когда поэты величали его божеством с творческою силой, произведшей свет в России, когда Шевырев с «Москвитянином» горой стояли за Петра и доказывали историческую и даже физическую необходимость самых мелочных преобразований петровых, вроде уничтожения российской бороды и российского кафтана, когда многие называли Петра Великим между Великими, когда нам доказывали в школах пользу, важность и необходимость изучения русской истории тем, что она одна изображает нам деяния Петра Великого? И вдруг, в настоящее славное время раздаются голоса против Петра, его обвиняют во многом, хотят найти и указать всем пятна в этом прежде столь светлом и славном солнце, затемнить хоть несколько яркий блеск его славы, уменьшить в глазах наших его исполинскую тень, разросшуюся под пером прежних деесписателей петровых до колоссальных размеров полубога. И — страшно и смешно выговорить — дело уж дошло до того, что на славное имя Петрово взимается даже наш знаменитый, медоточивый, приторный и афористически болтливый Погодин, «рыцарь без упрека», тронутый до слез несчастною судьбою царевича Алексея Петровича; подобно тому, как и г. Циммерман был тронут «бледною окровавленной тенью фрейлины Гамильтон, которая встала пред ним из могилы и потребовала очищения памяти ее от несправедливого осуждения» и тоже, заодно с Погодиным, восстал с обвинениями против Петра. Чем объяснить такую резкую перемену в суждениях о Петре и откуда взялась в Погодине такая прыть — решительно неизвестно, по крайней мере в точности. Как бы то ни было, только подобные отчаянные поступки Погодина и Циммермана глубоко огорчили г. Карла Задлера — иностранца, как он сам сознается; пред ним тоже видно предстала прозная и величественная тень Петра, и потребовала, чтобы он оправдал и очистил ее память от скверн Погодина. Г. Задлер с жаром ухватился за это великое и святое дело, воодушевляемый и ободряемый еще тем, что г. Семеновский, и то бывает очень осторожен, когда дело коснется обвинений Петра. «После такой осторожности со стороны подобного авторитета, как г. Семеновский, говорит г. Задлер, невольно проникнемся чувством сильного негодования к современным русским историкам, прочитав статью Погодина об Алексее Петровиче» (стр. 11). Опираясь на подобные авторитеты и проникнутый подобными чувствами к русским, или, как он выражается в другом месте, туземным историкам, г. Задлер действительно взялся за оправдание Петра и явил блистательный опыт и доказательство своих адвокатских и всяких способностей. Но от его оправдания выиграл один только Погодин, потому что для последнего нашелся достойный противник, с которым он может состязаться сколько угодно, может даже вступить в устный публичный диспут, не роняя достоинства своего противника и не унижаясь пред ним; оба солерника одинаково сильны и стоят друг друга. Напротив, Петру Великому не поздоровится от оправданий г. Задлера, который оказал своему клиенту услугу à la мишенька и еще раз представил научное доказательство той истины, что услужливый человек с известным качеством часто бывает опаснее врага. Бедный Петр, когда-то он дождется для себя хоть сколько-нибудь сносного историка, который бы взглянул на него прямо и смело, с исторической точки зрения и определил бы настоящую цену и достоинства его исторической

деятельности. А то (не говоря о славянофилах, у которых ничего нельзя разобрать) до сих пор за историю его принимались или отчаянные панегиристы, которые в буквальном почти смысле были без ума от Петра, были совершенно ослеплены блеском его деяний, закрывали глаза, чтобы ничего не видеть и не понимать, падали пред ним ниц и поворачивались в прах; или же поддельные и натянутые смельчаки, комически важные и неподкупные судьи. Эти последние quasi-историки Петра были к нему очень строги, с заметным усилием старались придирались к нему, поддеть его хоть в чем-нибудь и непременно высказать против него несколько обвинений; но во всем этом ясно обнаруживалась заносчивость москвы, что и мы, дескать, при удобных обстоятельствах, не уступим в либерализме другим, и кроме приторных пошлостей, способны еще на ужасно смелые вещи, даже на обвинение самого Петра. Как ни смешны были эти уж чересчур трубые хитрости и манеры, однако ж они вполне привели к желанной цели; нашлись головы, которые были поражены и изумлены этим фальшивым задором и натянутою смелостью. «Имена Петра и Алексея привлекли на себя еще большее внимание с тех пор, как либеральный автор (ага!) г. Погодин избрал их предметом своего труда» («Опыт оправд. Петра», стр. 25). «Хотя вся статья г. Погодина есть не что иное, как уничтожение Петра и его новой России: тем не менее она делает честь не только нынешнему времени, но и смелости г. Погодина» (стр. 100). Чего же лучшего может еще потребовать Погодин от своего противника? Конечно, отчаянная смелость и задор Погодина известны были всем и прежде, но никто не говорил о них так гласно и ясно, как г. Задлер. Это невольная, но действительная услуга, оказанная г. Задлером своему противнику; а что же он сделал для своего клиента, или по крайней мере что он в состоянии сделать? — Пословица говорит «видна птица по полету»; так же точно и г. Задлер виден весь в приведенных нами его словах, так сказать виден по первому взмаху его ученых крыльев, но чтобы лучше узнать его полет, приведем несколько других подобных мест из его оправдания.

«Г. Погодин, касательно своих мнений о Петре, нашел себе в немецком историке нашего же столетия, Шлоссере, замечательного единомышленника: «способность, сила, ум для всего, что полезно и необходимо, непрерывная деятельность для преобразования своего народа отличали Петра при совершенном, нравственном разврате.— Всею без исключения дан был другой вид: одежде, жилищу, образу жизни, и Петр не долго размышлял о средствах к достижению своей цели, потому что он не имел никакого понятия о правах честности, о нравственном порядке вещей еще в своей юности, а позже у него не доставало времени, случая и охоты к приобретению их. Он побеждал, то сознательно, то бессознательно, натуру грубую — натурую грубую и понуждал своих русских к образованию кнутом, палкою и эшафотом». Но как высоко ставят Петра над всеми этими упреками современники его: Феофан, Миних, Неплюев; позднейшие историки: Голиков, Ломоносов, Карамзин, Устрялов, Соловьев; из иностранных Чельтем, Вольтер и другие» (стр. 151), которым Шлоссер конечно и в подметки не годится. «Уже Шлоссер, иностранный писатель, удивляет нас тем, что так несправедливо судит о Петре. Тем более поразила нас эта несправедливость к Петру в ученом, образованном г. Погодине (Шлоссеру, видите, извинительно; он неуч и необразованнее Погодина), знающем все замечательнейшие события своего отечества» (стр. 159). «Может быть, покажется кому-нибудь странным, что мы осмеливаемся возражать знаменитому писателю, Погодину (помилуйте, тут нет ничего странного; оправдывая Петра, вы тем самым сделали также знамениты, как и г. Погодин, обвиняя его), тем более, что слог наш явно обнаруживает иностранца, слабо владеющего русским языком, и в умении привлекательно излагать предмет

далеко ему уступающего» (стр. 25). И видно. Таким образом рыбак рыбака узнал издалека. Теперь посмотрим, что сделал г. Задлер с такими зачатками и задатками, послушаем его защитительной речи.

Прежде всего г. Задлер разбирает дело о фрейлине Гамильтон и оправдывает Петра против некоторых обвинений по этому делу, высказанных г. Циммерманом. Вопрос о Гамильтон самый новый, животрепещущий и современный; как видите, он даже сделался предметом ученого спора; не говоря уже о том, что г. Семевский, самый читаемый и интересный писатель, посвятил ему особую монографию, которая «привлекла еще большее внимание» на Гамильтон. К чести наших ученых нужно сказать, что они по большей части поднимают самые интересные вопросы, решение которых составляет важную потребность времени, от которых в том или другом отношении зависит наша судьба и разъяснение нашей прошедшей или будущей участи. К числу таких вопросов относится и вопрос о фрейлине Гамильтон, этой исторически важной, влиятельной и замечательной личности. Только, к сожалению, не все еще у нас потонули в безднах науки и не все понимают важность и значение этих вопросов. Даже вот мы сами, если бы не чувствовали некоторой робости перед учеными мужами и не боялись упреков в невнимательности к решению научных вопросов с виду мало-важных, а в сущности плодотворных и чреватых великими результатами,— непременно сказали бы хоть по секрету, что нам уж надоели все эти толки об Гамильтон, и что едва ли она сама по своей исторической значимости заслуживает такого внимания.

Действительно, ее история очень трогательна, трагична, и с этой точки зрения представляет много интересного, как всякое людское страдание вообще, как несчастная участь чья бы то ни было. Несчастные, страдающие личности попадаются нам на каждом шагу в истории и в жизни; перечтите одних только страдающих поэтов, и вообразите, сколько есть несчастных мучеников любви; жертвы, имеющие право на наше участие и сострадание, существовали всегда, и они могут быть предметом повести, романа, пожалуй исторического рассказа, которые все можно читать с большим интересом, с напряженным до болезненности вниманием, как всякий уголовный процесс, как историю любой казни, с которою связано что-нибудь романтическое. Действительно, и такие личности, хоть они и не имели важного значения в свое время, могут быть в некотором отношении полезны и для истории, могут верно характеризовать понятия, воззрения и нравы эпохи, особенно если в их судьбе резко отпечатлелось все это, если их история типична. Но в судьбе Гамильтон ничего такого не замечается; подобных случаев, казней, трагедий с романтическими приключениями в нашей истории очень довольно; много можно набрать их из времен Петра и из истории последующих царствований и можно переделывать их в исторические романы, очень интересные, как действительно некоторые и пытались было сделать это. Но какой же толк выйдет из этого? Конечно, наука не должна пренебрегать никакими мелочами и изучение мелочей очень часто приводит к важным результатам; и было бы очень хорошо, если бы при общей истории эпохи существовали частные подробные монографии не только о главнейших деятелях эпохи, но и других личностях, имевших к ним какое-нибудь отношение. Но ведь это роскошь, уместная и законная только тогда, когда порядочно исследованы и рассмотрены более общие и более крупные факты, и совершенно неблагоприятная и непозволительная, когда исследователь, опуская из виду главное и существенное, останавливается много и долго на мелочах, да еще и не имея в виду ничего другого, кроме этих же самых мелочей, так что они представляются ему последнею и конечною целью. Кто похвалит и одобрит расчетливость господина, который, не имея ни сюртука, ни са-

погов, все свои средства и усилия употребляет на то, чтобы приобрести себе отличную цепочку к часам, существующим только в его воображении? История Гамильтон и сама по себе неважна, а в руках наших историков решительно потеряла всякое значение, какое она могла бы еще иметь при другом образе воззрения на нее; ведь они принялись толковать об ней единственно для того, чтобы успокоить «бледную, окровавленную тень» и «очистить память ее от несправедливого осуждения», и затем покончить все дело, сказавши с древним пиитою:

Но, тень великая, довольно;
Иди, сокройся в облаках!
Душ наших больше не терзая,
Живи, ликуй, на небесах.

Какая же от этого польза для истории? Если дело идет об успокоении и очищении теней, то в таком случае работе не будет конца, придется вызывать миллионы окровавленных теней, неочищенных и неомытых, и времени не хватит на это. Скажите, пожалуйста, не значит ли это попусту терять время и бессмысленно толочь воду, ломая голову над решением таких вопросов:

Была ли Гамильтон действительно детоубийцею? Как наказывали законы тех времен детоубийство? Была ли Гамильтон осуждена уголовным судом или просто волею монарха? Ну, это еще вопрос сюды-туды. А далее: почему царь не только ее не помиловал, но еще приказал пытать в дургорядь? Это последнее повеление Петра рождает следующие вопросы относительно Гамильтон: на сколько она заслуживает наше участие? Была ли она невинная жертва соблазна и одного ли она любила? Одного или нескольких детей она погубила? В других отношениях была ли она строго нравственна? («Оп. оправ. Петра», стр. 2).

Подумаешь, право, что человеку решительно нечего делать и вот он от скуки придумывает разные вопросы, раскладывает, так сказать, исторический гранд-пасьянс, и — что досаднее всего — печатает произведение своих досугов для назидания и поучения публики. Мы даже не видим много интереса и в вопросе Циммермана: «присутствовал ли Петр Алексеевич при пытках Гамильтон» — Но что прикажете делать? Каша заварена, дело сделано: Петр обвинен за дело Гамильтон, и Петра оправдывают; вот и изволь возиться с этими оправданиями, толковать тут об них, и непременно с кислую гримасой, с вытянутым лицом и наморщенным челом, а то как раз со всех сторон посыплется брань и ругательства: вот негодяй, шарлатан, невежда, не признает значения личности в истории, отвергает пользу монографий, воображает, что в истории не нужны исследования частных фактов со всеми их подробностями, и тому подобные лестные и чисто ученые комплименты. А посему подвергнем подробному и строгому анализу оправдания г. Задлера. Основываясь на свидетельстве Голикова и анекдотах Штелина, он утверждает, что Гамильтон действительно была детоубийцею, осуждена по определению суда, а не просто монаршею волею, и государь в поступке Гамильтон видел преступление тяжкое, за которое законы божии ветхого и нового завета наказывают смертью, хоть у него приведены ссылки только на один ветхий. «Что Гамильтон была подвергнута пытке, продолжает г. Задлер: тоже совершенно понятно, хотя и невозможно оправдать эту меру. По нашему мнению, если уже следовало пытать, то разве Орлова, а никак не Гамильтон, которая за свой поступок и без того приговаривалась к смерти» (стр. 10). «Хвать друга камнем в лоб». Г. Циммерман говорит, что Гамильтон пытали, так сказать, классической русской пыткой, т. е. кнутом на виске. Г. Задлер так оправ-

дывает в этом Петра: «г. Циммерман мог удостовериться из означенных анекдотов Штелина, что осужденной дано было три дня на покаяние; что ее все очень любили; что она была благотворительна; накануне казни ее посетили очень многие из придворных кавалеров и дам; и она трогательно просталась с ними. В день казни она была элегантно одета в белое шелковое платье с черными лентами. Так не нарядится женщина с вывихнутыми руками. При том страдания от жестокой пытки так ужасны, что если Гамильтон была ей подвергнута, то едва ли была в силах потом принимать посетителей». Следовательно, Гамильтон была подвергнута не жестокой пытке, и у ней не были вывихнуты руки. Итак Пётр прав; «все действия Петра по этому делу, говорит г. Задлер непосредственно за приведенными сейчас словами, вполне справедливы, за исключением пытки» (стр. 12). «Хотя Голиков и Шгелин наводят на предположение, что Петр был прежде в связи с Гамильтон, хотя г. Циммерман приводит из биографии девицы Крамер подобные же намеки; но это опровергается уже тем обстоятельством, что Петр лично допрашивал Гамильтон. Зная за собою такой грех, мог ли бы он допрашивать? Удивительно, каким образом г. Циммерман, приведя слова Голикова о ходатайстве государыни за виновную, далее делает такое, совершенно противоречащее предположение: не замешалась ли при ее осуждении ревность другой женщины? Кто, кроме Екатерины, мог здесь ревновать и как согласить ревность с предстательством перед государем за обвиненную?» (стр. 13). Удивительно, как человек может рассуждать подобным образом, и при таком скудоумии приниматься за оправдание кого бы то ни было, и высказывая приведенный нами вздор, воображать, что он действительно оправдывает Петра. Наконец, вот еще одно общее, так сказать похвальное оправдание г. Задлера. «Многие, между прочими и г. Циммерман, не хотят допустить, что Петр, при своей суровости и жестокости, тоже бывал кроток и милосерд». Что вы вздор говорите и бессовестно клеветаете на людей? Кто, кроме разве только вас, станет утверждать, что жестокий и суровый человек вообще решительно уже не доступен кротости и милосердию? «Для доказательства возможности соединения этих качеств (суровости, жестокости, кротости и милосердия) в одном лице, мы, говорит г. Задлер, приведем несколько черт из характера Иосифа II — он ведь слывет кротким и милосердным» (стр. 16); и начинается рассказ о *сивке* и о *бурке* на 6 страницах, проводится параллель между Петром и Иосифом, в таком роде: «Петр опасался, чтобы заклеивание было не точно исполнено,—то же самое было и с Иосифом. Гейслер (Skizzen Sammlung, Th. 3, p. 169) рассказывает...» и пошла писать. Вот ученость, вот начитанность, и цитат сколько!

Вот дело об Алексее Петровиче бесконечно выше и интереснее, чем история Гамильтон; над несчастною судьбою царевича невольно задумается всякий; она интересна и в историческом, и в психическом, и в нравственном отношении, со всех сторон, с каких угодно точек зрения. Суд об этом деле нельзя считать окончательно решенным и исторический приговор над ним еще не состоялся; оно представляет много сторон неразъясненных, много фактов сомнительных; тайные пружины и нити этого дела только еще затронуты, и нужно еще много труда, чтобы распутать и проследить их до конца; самый исход его, так сказать, последний акт, заключительный финал находится под покровом сомнения; подлинность страшного письма Румянцева не доказана и не опровергнута положительно. Вот этим бы следовало заняться нашим историкам, вместо того, чтобы мудрствовать о том, одного ли любила Гамильтон, или десятерых; и вместо двух монографий о Гамильтон, мы с большим интересом и пользою прочли бы десяток их об Алексее Петровиче. Так нет же вот; извольте заниматься фрейлиною Гамильтон, любоваться ее «красотою, приятным умом, необыч-

новенно любезностью, элегантно шелковым платьем» и тому подобными вещами. Правда, и дело о царице не осталось без внимания; но оно, к сожалению, попало в руки таких следователей и судей, как Погодин и его противник г. Задлер; так что если бы в наше время существовал какой-нибудь вития, в роде тех, какие были при Петре, он непременно бы воскликнул: «что се? Что делаем? Что видим? Погодин обвиняет Петра Великого, а Задлер оправдывает его! Не привидение ли это? Не во сне ли обманываемся?» Нет, это не привидение, не сон, а действительная, горькая правда, совершившаяся в виду всех. «М. П. Погодин, говорит г. Задлер, в 1-й кн. «Рус. Бесед.» за 1860 г. изложил, с свойственною ему художественностию (боже!) свой взгляд о суде, произведенном над царевичем Алексеем Петровичем. Он обвиняет Петра во всем, и представляет его, как человека сурового, жестокого. Касательно жестокости Петра, мы совершенно согласны с почтенным автором» — хватъ друга снова камнем в лоб — «но вовсе не разделяем его прочих мнений» (стр. 24). И затем начинаются оправдания; но если бы вы знали, что это за оправдания! Прочитавши их, чувствуешь какую-то усталость, изнурение, головную боль: везде дичь и чепуха страшная; из всей многословной болтовни нельзя вывести решительно никакой мысли, а не то, что еще какого-нибудь заключения за или против Петра. Оправдание обыкновенно ведется так: Погодин обвиняет Петра в том и в том; действительно это справедливо; но обратим внимание еще на следующие факты, и действительно приводятся факты из Голикова, анекдоты из Штелина, строчки из Устрялова, выписки из манифестов. Но все эти факты также идут к оправданию Петра, как и к оправданию той мысли, что на луне есть жители, похожие на нас. Все оправдание Петра у г. Задлера состоит из 2-х частей, которые подразделяются на 37 отделов, с прибавлением заключения, «в котором мы (Задлер) сообщим нашим читателям одно место из книги Гервинуса, где рассматривается шекспирово Отелло, черты характера которого могут относиться и к характеру Петра» (стр. 29). «Качества, мнения и намерения Алексея ясно видны: 1) из манифеста Петра (следуют выписки); 2) собственноручный ответ царевича на допросы Толстого; опять выписки; 3) качества Алексея по словам г. Погодина (след. выписки); 4) качества его по словам г. Семейского (выписка). Теперь следует: 5) наш собственный взгляд. Алексей заслуживает сожаления, как по своим наклонностям, так и по отношениям к отцу, к матери и к окружавшей его партии. По нашему мнению, с железною волею Петр, и с слабым характером Алексей, представляют собою два существа, которые, от взаимного соприкосновения, оба ошибочно действуют, но Петр с благим намерением, Алексей же с дурным; и потому Петр возбуждает в нас сочувствие, а Алексей сожаление; и читатель видит, что мы даем преимущество Петру пред Алексеем (неужели?). Романист будет смотреть на все это с противоположной точки зрения. — Чтобы еще с большею ясностью показать взаимные отношения между отцом и сыном, мы просим позволить нам привести еще другой подобный исторический пример, в том же столетии»; и начинается опять рассказ о сивке и о бурке, производится параллель между Петром Великим и Фридрихом Вильгельмом I. «Г. Погодин говорит, что Екатерина была врагом Алексея. Напротив: отношения Алексея к Екатерине были всегда дружелюбны, благосклонны и исполнены доверия. Приведем его письмо к ней. «Катерина Алексеевна здравствуй на множество лет. За писание твое zelo благодарствую и впредь сего желаю». Далее Погодин говорит: Алексей не нравился тетке. А если и не нравился, то разве это служит доказательством ее вины? Нисколько (ну, конечно!). Тетки почти всегда балуют своих племянников и потому мы более сомневаемся в хороших качествах Алексея, чем в добрых свойствах тетки его.—Погодин говорит, что и Меньшиков содействовал

гибели царевича. Неправда; Меньшиков был властолюбив и горд. Если он побуждал Алексея к праздности, в таком случае он и сам должен был соделаться его сообщником и поверенным во всех его поступках... С какою же осторожностью должен был действовать Меньшиков, нарушая высочайшую волю. Алексей боялся Меньшикова и был к нему почтителен» (стр. 29—57).

Прочитавши такую путаницу, вы с изумлением спрашиваете: ну, положим, Алексей имел слабый характер и возбуждает сожаление, Екатерина не была врагом его, и Меньшиков не побуждал его к праздности, положим даже, что и тетка баловала своего племянника: где же тут оправдание Петра и что же из всего этого следует? А следует то, говорит Задлер, «что Петр имел полное право обвинять Алексея, подававшего важные условия к неудовольствию против себя, в чем впоследствии и сам Алексей сознается»; а это дает повод думать, что и на планетах есть жители, потому что, как между Петром, Фридрихом Вильгельмом I и Отелло есть большое сходство, так точно оно есть и между планетами.— Ко второй части мы боимся и приступить, она еще запутаннее, головоломнее и бесполое, чем первая; проследить и разобрать ее нет никакой возможности, иначе вы рискуете угореть и совершенно забить свою голову страшной чепухой; мы взглянем только на некоторые более заметные и выдающиеся оправдания.

«Здесь, говорит г. Задлер, мы намерены рассматривать происшествия этого времени; показать, что руководило Петра — ненависть или любовь? Любовь его к Алексею доказывается тем, что он назначает его приемником Екатерины.— Из его объявления министрам, сенату, военным и гражданским чинам видно, как он заботится о том, чтобы судьбы из пристрастия к нему не решились бы дело несправедливо. Поступил ли бы так отец, ненавидящий сына? — В 21 день по смерти царевича, Петр приказал во флоте, на котором он тогда сам находился, служить панихиду, со всею пышностью, подобающе сыну царствующего государя, и согласно с тогдашними установлениями» (стр. 67—74).—«До сих пор мы могли оправдывать Петра, теперь же нас возмущает продолжение пыток и розысков, последовавших за объявлением приговора. В этом уже осудить должно самого Петра, потому что суд, приговора царевича к смерти, этим самым покончил свои обязанности»: — это тоже услуга мишеньки. «Еще более ужаса возбуждают в нас следующие слова Устрялова на счет разных мнений о смерти царевича: «вероятнее всего, царевич умер вследствие пытки: достоверно, что 26 июня утром, в 8 часов, его пытали в Трубецком раскате, а в 7 часов по полудни церковный колокол возвестил о кончине его». Морально это было уже грехом. Алексей отказался уже от света. Чего же еще хотели? Доказательств, увеличивающих или уменьшающих вину? Но какая польза от этого? Приговор был уже произнесен. Русская пословица говорит: «лежачего не бьют». Физически это было также жестоко, тем более, что уже четыре года пред тем, Алексей, по слабости здоровья и от утравившей ему чахотки, был послан в Карлсбад» (стр. 77).

Тут следовало бы предложить г. Задлеру его же собственный вопрос: поступил ли бы так отец, ненавидящий своего сына? Что же за вздор вы городили прежде; к чему все ваши пустяки о назначении приемником, о панихиде, о беспристрастии? Согласитесь, что приведенными сейчас словами вы сами себя бьете по лицу и все ваши оправдания и разглагольствия на иностранный манер разлетаются в прах, свидетельствуя только об искусных приемах и способах вашего ума и вашей сообразительности. В таком роде все оправдания и вся книга. Но если ни в одном случае г. Задлеру не удалось, как следует, оправдать Петра, за то однажды поспешливо отличил и лихо поддеть Погодина. «В своих предположениях

Погодин выражается поэтически. Мы признаем в его словах риторические красоты, но истины в них еще не видим: даже мы не соглашаемся с ним в некоторых из его поэтических выражений. Он при всяком удобном случае восклицает: несчастный Алексей! Такие эпитеты в исторических описаниях предоставляются уже самому читателю. Если он соглашается с мнением автора, то он сам невольно выговорит — несчастный Алексей! Если же читатель думает иначе, то весьма справедливо укорить автора в желании быть проводником своих мнений. Мы приведем следующие слова Погодина, чтобы показать, что тут слово «несчастный» вовсе неуместно: начались сборы в возвратный путь из Неаполя. Царевич ездил с Толстым в Бари помолиться, несчастный, мощам чудотворца Николая» (стр. 103). Вот это правда, что некстати, так уж некстати; верно замечание; ай да г. Задлер, сразу подметил, что «несчастный» стоит не у места, а еще иностранец.

Написавши в таком роде свой опыт оправдания Петра и перечитавши его от начала до конца, он и сам увидел, что оно вовсе не оправдание, а так чорт-знает что такое, по крайней мере, вовсе не то, чего бы ему хотелось, и что он думал сделать; откровенное сознание в этом невольно прорвалось в конце его книги. «Мы надеемся, что встретим снисхождение в наших читателях к тому, что защищая великого человека, к которому наша любовь и участие постепенно возрастала, мы отступили от обещанной нами вначале скромности, увлекшись своим предметом, под конец говорили с возрастающим гневом. Мы действительно были намерены возражать знаменитому писателю с полным спокойствием духа (со смыслом), а на деле вышло иначе» (стр. 106). «Отчего бы это? думал г. Задлер, и решил, что это произошло от того, что он не туземный, а иностранный историк и в утешение себе сослался на слова Вольтера, который говорил, что описание учреждений законов, войн и предприятий Петра есть обязанность туземных историков. Ошибаетесь, г. Задлер, уверяем вас; иностранный историк может написать отличную историю Петра, даже лучшую, чем туземцы; ваше оправдание вышло из рук вон плохо не оттого, что вы не туземный историк, а от другой более важной причины, которой мы вам не скажем; догадайтесь сами.

II. НЕИЗДАННАЯ СТАТЬЯ О ПОКОРЕНИИ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ НАРОДОВ ПОЛУДИКИМИ

Публикация Н. Алексеева

В конце октября 1883 г. Н. Г. Чернышевский был привезен жандармами из Вилюйска, Якутской области, где он находился в заточении более одиннадцати лет, в Астрахань на постоянное жительство под надзором полиции. Выступать в печати под своим именем ему было воспрещено, и для снискания пропитания пришлось заняться черной работой переводчика. В марте 1885 г. Чернышевский начал переводить для московского издательства К. Т. Солдатенкова многотомную «Всеобщую историю» немецкого историка Георга Вебера. При этом, как видно из его письма к А. В. Захарыну, который достал ему эту работу, он «хотел не просто переводить все целиком, а сокращать, переделывать и пополнять» (письмо от 10 ноября 1885 г.). Более того: под видом перевода Чернышевский предполагал дать самостоятельный научный труд. «Я не имею права выставлять на моих книгах мою фамилию. Имя Вебера должно было служить только прикрытием для трактата о всеобщей истории, истинным автором которой был бы я», — писал он 8 декабря 1888 г. Солдатенкову. Когда этот проект оказался неосуществимым, Чернышевский решил ограничиться присоединением к переводу труда Вебера своих статей, представляющих «черк научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории». Но и

для этого нужно было выждать время, и только к VII тому Вебера Чернышевскому удалось присоединить первую из этих статей—«о расах». Для следующих томов (VIII—XI) и для второго издания I тома он написал статьи под заголовками: «О классификации людей по языку», «О различиях между народами по национальному характеру», «Общий характер элементов, производящих прогресс», «Климаты. Астрономический закон распределения солнечной теплоты», «Очерк научных понятий о возникновении человеческой жизни и о ходе развития человечества в доисторические времена». Все эти статьи перепечатаны в X томе «Полного собрания сочинений Н. Г. Чернышевского» (изд. 1906 г.). Смерть прервала эту работу. Печатаемая ниже статья, сохранившаяся среди бумаг Н. Г. Чернышевского, находящаяся в Саратове в Доме-музее его имени, повидимому, предназначалась для включения в эту серию. К сожалению, не сохранилось ни начала, ни конца ее, и в уцелевшем тексте имеются пробелы (которые мы обозначаем многоточиями). Неизвестно и заглавие, которое дал или хотел дать ей автор. Речь идет о мнимой благотворности покорения цивилизованных народов полудикими завоевателями, будто бы вносящими в мировую историю новые начала. Тема эта давно занимала Чернышевского. Ей посвящено одно из его примечаний к переводу «Оснований политической экономии» Милля (см. «Полн. собр. соч.», т. VII, стр. 19) в «Современнике» 1860 г., ей же посвящена его статья «О причинах падения Рима» в «Современнике» 1861 г. (см. «Полн. собр. соч.», т. VIII, стр. 157—177), направленная по существу против Герцена.

[О ПОКОРЕНИИ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ НАРОДОВ ПОЛУДИКИМИ]

...В более широком размере такой же факт повторился при покорении половины Азии и половины Европы монголами. Они были дикари по сравнению с каждым из больших народов, покоряемых ими; не только сельджуки, но и волжские болгары были людьми более высокой цивилизации, чем те монгольские племена, на преданности которых держалась власть Чингисхана, его сыновей и внуков над массой их войск. Эти племена, взятые все вместе, были, без сомнения, малочисленней тюрков, персиян, русских, покоренных ими, и во много раз малочисленнее китайцев. В те 1700 лет, которыми отделены персидские завоевания от монгольских, произошли в западной Азии, южной Европе и северной Африке три ряда событий такого же характера. Германцы покорили западную половину римской империи; арабы — персидское государство, большую часть азиатских владений восточной римской империи, северную Африку, Испанию; тюркские племена покорили все области багдадского халифата и часть владений, оставшихся у византийской империи в Азии. Факты такого же рода, хотя менее громадные, но все таки очень крупные, трудно и пересчитать, так их много в 2000 лет, прошедшие между завоеваниями персов и покорением Балканского полуострова турками. Некоторые из этих завоеваний варварами представляются изумительными: какая-то орда, которую другие орды гнали из одной страны в другую откуда-то из глубины восточной Азии до степей на севере Черного моря, начинает делать завоевания в восточной Европе, проходит в Венгрию, покоряет Германию, опустошает половину Галлии, половину Италии. Повелитель этой орды, Атилла, умирает, и гуннов снова гонят из Европы, персияне истребляют их. Другая орда, загнанная из Азии в Венгрию, аварская, долго опустошает все земли на несколько сот верст кругом Венгрии; она исчезает, на смену ей появляется новая орда, венгерская, и ходит опустошать не только Германию и Италию, но даже земли за Реной. Еще страннее то, что разбойничьи шайки из скандинавских земель, имевших очень малочисленное население, оказываются достаточно сильными для того, чтоб опустошать северную Германию, почти всю Францию, завоевать Англию, часть Франции,



Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ.
Фотография 1882 г.
Дом-музей Н. Г. Чернышевского, Саратов

Эти и бесчисленные менее крупные факты такого же рода произвели теорию о молодых народах и народах одряхлевших, о свежести сил, дивной энергии, высоких нравственных качествах молодых народов, об изнеженности, бессилии, нравственной испорченности одряхлевших народов. Предполагается, что цивилизованные народы, мучимые, покоряемые полудикими народами, были трусливы, развратны, а дикари, грабившие и покорявшие их, были людьми дивного мужества и душевного благородства. Чтобы составить такую теорию, надобно было забывать, что такое военное ремесло, войско, сражение, завоевание.

В каком-нибудь народе возникло разделение профессий: одни люди пахут землю, другие шьют сапоги, третьи строят дома. Объявляется конкурс: те люди, которые представят хорошо сшитые сапоги, получают награды. Срок конкурса через неделю. Какие люди получают награды? Ровно ни до каких умственных и нравственных достоинств тут нет дела; награды даны исключительно за умение шить сапоги. А может быть, землепашцы и каменщики желали получить награды, шили сапоги в этот месяц, представили свои сапожные изделия на конкурс! Если да, то изделия их оказались плохи; они были со стыдом прогнаны с конкурса. Почему же так? Не были ли они менее усердны к работе, чем сапожники. Это неизвестно, и вопрос об этом не относится к делу. Срок был недостаточный для того, чтобы человек, не занимавшийся шитьем сапогов до объявления конкурса, мог научиться хорошо шить сапоги, хотя бы трудился над этим по 18 часов в сутки.

Сражение — конкурс. Срок — не неделя, а лишь несколько часов при нынешнем оружии дальнего боя, а прежде, при решении сражений рукопашным боем — лишь несколько минут. Важность не в том, умеет ли новобранец стрелять или фехтовать, — этому можно выучиться, не видев неприятеля, а в том, сохранит ли человек твердость души, когда встретится с врагом, будет ли стоять, идти вперед, действовать оружием, как умеет, или дрогнет, растеряется и побежит. Быть твердым в бою — этому нельзя научиться иначе, как практикой действительного боя. Как происходили сражения в Европе до недавних усовершенствований артиллерии и ручного огнестрельного оружия? С того места, где построилось в боевой порядок нападающее войско, оно безостановочно шло в рукопашный бой. Так это и теперь в сражениях между войсками, не имеющими нарезных пушек и нарезных ружей. — Возвратимся же к нашествию полудикого народа на цивилизованную страну.

Войско полудикого народа, состоящее из опытных воинов, идет в бой с войском, массу которого составляют люди, не бывавшие в сражениях. Стремительной атакой люди, которые всю жизнь провели в вооруженных драках, бросаются на людей, ни разу до той минуты не бывавших в бою. Кто из этих людей не научился в первые пять минут боя сражаться не хуже опытного воина, тот уже убит или опрокинут; в два, три часа этому испытанию, дящемся для каждой части войска новобранцев лишь по пяти минут, подверглись уж все части их войска; сражение началось рано утром, и ко времени полудня поле уж на десять верст кругом покрыто телами опрокинутых, обратившихся в бегство, настигнутых победителями.

Спросим у любого специалиста по военному делу, может ли войско, состоящее из людей, ни разу не бывавших в сражениях, выдержать в открытом поле бой с войском вдвое менее многочисленным, но состоящим из опытных воинов; он скажет: как бы ни был от природы храбр народ, из которого взяты ополченцы, не бывавшие в бою, они будут опрокинуты, обращены в бегство войском опытных воинов не в два, а в пять раз менее многочисленным; он выразится даже так: «Каково бы ни было число людей, не умеющих сражаться, войско, состоящее из 10 000 опытных воинов, опрокинет

эту толпу, хотя бы каждый отдельный человек в ней был от природы очень храбр, и будет гнать рассеявшихся беглецов на такое расстояние, на какое хватит силы в ногах у его пехотинцев и у лошадей его конницы гнаться за беглецами, и убьет из них такое число, какое могут убить воины его до совершенного утомления рук взмахами оружия».

Подле многолюдного селения в лесу появляется шайка разбойников. В селении несколько сот взрослых мужчин; шайка состоит из 10 разбойников. Сколько времени может [она] безнаказанно злодействовать, если в селении нет людей, привычных сражаться? В народных сказках разбойники — дивные храбрецы. Теперь по точным отчетам о процессах мы знаем, что большинство разбойников составляют люди менее твердого характера, чем большинство людей того народа, из которого вышли они. Но они стали людьми привычными к вооруженным схваткам и грабят селения, в которых нет людей, привычных [сражаться]. Кому теперь неизвестно, как идут теперь дела разбоя в большом размере. Кочевое племя идет грабить соседнюю цивилизованную область. Из людей этой области сформирован и обучен военному делу один батальон; грабителей было в два, в три раза больше. Когда батальон пришел, он гонит и истребляет их, а пока его не было, они грабили и резали население области, в котором считалось несколько десятков тысяч взрослых мужчин.

Общий ход истории полудиких завоевателей и цивилизованных народов, покоряемых ими, таков:

Полудикие племена дерутся между собою и временами делают мелкие набеги на соседей; по какому-нибудь случаю они соединяются в одно войско. Обстоятельства этого соединения обыкновенно слагаются так: одно из дравшихся между собою племен одержит сряду две, три победы, подчинит себе два, три племени; оно водит их с собой в следующие драки с другими разрозненными племенами; покоренные племена усердно служат вождю его, потому что теперь победа уж верна, по сравнительной многочисленности воинов, повинующихся главнокомандующему и часть добычи достается... Сообразим, сколько могло быть в нем воинов по ремеслу. Из нескольких миллионов семейств едва ли принадлежали к военному сословию (!); но большинство из них принадлежали к нему только по политическим правам, а военным делом не занимались: их взрослые мужчины торговали, были сборщиками податей, судьями, людьми ученых профессий: преподавателями, священниками, врачами; сыновья этих взрослых мужчин приготавливались к тем же занятиям. Эти сыновья считались воинами только в смысле. . . .

пользующихся льготами, имеющих право на почетные должности. Из . . . На государство идут полудикие соседи; у этих соседей каждый мужчина воин. Если весь народ, соединившийся под властью будущего завоевателя, состоял из 50 000 семейств, войско, которое [он ведет], состоит из 70 или 80 тысяч воинов. В государстве, на которое нападает он, живет миллион семейств; но в нем только 20, много 30 тысяч семейств действительно военных... которых может выставить оно против нападающих дикарей.... Разумеется, правительство сделает призыв... всеобщего ополчения, и в стан защитников родины соберется столько людей, сколько могут прокормить окрестные местности. Если позиция, в которой защитники родины хотят встретить врага, находится близ большого города... большие запасы продовольствия или у реки, по которой можно подвозить большие... Но в этом стане царь и его... пожалуй, полмиллиона людей. Но если он опытный воин и человек умный, он не захочет иметь такой состав, в котором большинство составляют люди, не знающие военного ремесла. У него мы предположим 40 000 воинов по ремеслу; он не захочет иметь 80 000 ополченцев, которые будут только поедать съестные припасы, замедлят движение, спугают маневры опытных отрядов его перед началом боя, побегут от первого натиска врагов, сомнут и опрокинут хорошие части своего войска. Каждый хороший

специалист скажет: самое лучшее, что могло бы сделать правительство цивилизованного государства, это — оставить милицию в крепостях, не брать ни одного человека из нее в поход, итти против дикарей только с воинами по ремеслу. Но у немногих государей и военных советников их достанет твердости характера поступить таким образом наперекор предубеждению, что сила войска растет с числом его, какова бы ни была подготовленность новобранцев к бою.

— Таким образом племя дикарей в 10, 15 или 20 раз менее многочисленное, чем цивилизованный народ, пойдет ограбить и покорить его страну, имея больше воинов, чем сколько людей, умеющих сражаться, может ([тот] выставить. Чем больше людей, не умеющих сражаться, прибавится к защитникам родины, тем меньше будет им шансов одержать победу. Но пусть они отразили нашествие. Что из того! Дикари вернулись в свои степи или горы; через 15 или 20 лет подросли сыновья взамен убитых отцов, и дикари возобновляют нашествие в прежних силах. Сколько раз ни будут они отбиты, все равно эта история длится до одной из двух развязок: или дикари принимают, наконец, привычки оседлой и мирной жизни, или при каком-нибудь из нашествий им удастся одержать победу в решительном сражении. Цивилизация проникает в степи и горы очень медленно, и при этом очень часто бывает, что соседняя с цивилизованной землей часть дикарей, начав цивилизоваться, погибает от нападений других своих соплеменников, для которых ее имущество стало казаться громадным богатством: дикие племена соединяются, чтоб ограбить этих богачей, истребляют, прогоняют их или держат под своим владычеством, под которым они быстро возвращаются к прежней грубости. А если некоторое-нибудь из многих нашествий дикарей начнется победой в большом сражении, судьба цивилизованного государства уже решена этим: оно осталось без воинов, умеющих сражаться; к победителям присоединяются волонтеры из других диких племен, потому что грабеж богатой страны уж начался. — Но люди, не умеющие сражаться, могут выучиться! Да, если имеют время. Сколько времени нужно на то, чтобы сформировать хорошее войско в стране, не имеющей его! Специалисты говорят, что на это нужны годы. Дадут ли дикари эту отсрочку! Они овладевают большими пространствами быстро, один поход достаточен для них, чтобы занять государство, имеющее сотни верст в длину и ширину. А когда страна занята неприятелем, население, не умеющее сражаться, будет ли иметь возможность формировать войско! Военные силы завоевателя быстро увеличиваются: кроме волонтеров из других диких племен, в его службу идут промотавшиеся или ленивые, но смелые люди из побежденного народа. Когда же, в какой стране не бывало людей, забывающих всякие нравственные обязанности из-за расчета пировать! Они не умели сражаться, но поступают в ряды опытных воинов и через два-три похода сами станут опытными. Таким образом, завоевать второе государство будет для дикарей гораздо легче, чем первое. Таким-то образом и растет быстро могущество какого-нибудь Кира, Аттилы, Чингисхана или одного из множества подобных им завоевателей менее знаменитых. К чему тут говорить о каких-нибудь нравственных достоинствах или недостатках цивилизованных народов! Подобные рассуждения так же неуместны и нелепы, как были бы порицания столярам за неуменье шить сапоги. Быть может, столяры — очень дурные люди, но проиграли они на конкурсе вовсе не потому, что были дурные люди, а исключительно потому, что шитье сапогов не было их ремеслом, и не имели они времени научиться этому искусству.

По какой-то непростительной забывчивости историки вообще не догадываются превозносить добродетели гуннов и аваров; следовало бы: чем хуже других опустошителей цивилизованных земель были они! Такие же

пьяницы, обжоры, развратники, бессовестные обманщики. Но — такова несправедливость судьбы! Персы Кира своею бессовестностью доказали свое умственное превосходство над народами, которых обманывали, своими скотскими пороками — избыток свежих сил, своими свирепостями — твердость характера, последовательность в поступках, и за эти прекрасные качества удостоиваются заслуженных похвал. А у гуннов и аваров бессовестность остается, по оценке историков, только бессовестностью, пьянство и обжорство остаются грубыми пороками, свирепость называется просто зверством. Обидно за добродетельных гуннов и аваров. Некоторой отрадой служит лишь то, что, по общему отзыву историков, Аттила был мудрый правитель, Чингисхан и Тимур-Ленг признаны тоже заслуживающими похвалы за покровительство всему природному и прекрасному. К несчастью, потомки Чингисхана и Тимур-Ленга были не совсем похожи на этих образцовых государей. Они и народ их испортились, потому и прекрасно благоустроенные государства, полученные ими от доблестных предков, рушились.

Посмотрим, в чем было дело. — Разбойничья орда покорила цивилизованную страну и поселилась в ней. Страна опустошена и ограблена. Значительная часть прежнего населения или большая половина его истреблена. Но все-таки уцелело много побежденных. Цивилизация их получила тяжелые удары, от которых не скоро оправилась бы и при самых благоприятных условиях, а под владычеством людей, подобных зверям, она едва ли будет оправляться, вероятно будет падать. Но покоренные все-таки остались хлебопашцами, искусными ремесленниками, уцелели и опытные администраторы, и ученые люди; когда победители убедились, что покорность побежденных прочна, они велели ремесленникам восстановить разрушенные дворцы или строить новые, изготовлять предметы той роскоши, какую умеют ценить дикари; стали пользоваться опытом администраторов, обращать в свою пользу знание ученых покоренного народа. Удобства жизни в хороших домах понравились им. Из зверей они стали понемногу делаться людьми; конечно, пьяными, развратными, злыми — от этих добродетелей, завещанных предками, нельзя скоро освободиться, — но все-таки людьми, хоть и очень дурными людьми. Предки-завоеватели резали людей, как баранов, без всякой злобы; сыновья и внуки стали убивать людей только по злобе, а когда не были раздражены, то не убивали тех, на кого не имели неудовольствия. Предкам было привычно голодать, спать в грязи или на холоде; сыновьям и внукам это стало казаться неудобно, потому предки рыскали, как волки, сыновья и внуки стали иметь расположение к оседлой жизни; хотя завоеватели и стали господами страны, но десятки тысяч семейств не могут же все быть богаты в стране, где прежде были миллионы семейств, а теперь осталось гораздо меньше, быть может, вдвое, втрое меньше. Награбленная добыча давно промотана большинством завоевателей; в стране восстановилась администрация, не позволяющая, чтобы каждый грабил, кого хочет из безоружных покоренных: если частные люди будут грабить их, правительство не соберет с них много податей; интересы казны воспрепятствуют свободе частного грабежа. Как же быть большинству завоевателей? Их предки в своих степях или горах кормились охотой и скотоводством. Здесь, в цивилизованной стране, охота не дает много пищи; земля принадлежит правительству или богатым людям, или высшему сословию завоевателей, или оставлена во владении туземцев, которых теперь частный человек не может прогнать, потому что правительству нужно, чтоб они возделывали ее и отдавали ему часть сбора. Чем больше будет сбор, тем выгоднее правительству. Массе завоевателей, не имеющей готовых средств к жизни, нельзя жить грабежом, нельзя жить ни охотой, ни скотоводством. Как быть? Нужно приниматься за работу, чтоб кормиться. Это не привычно, это кажется тяжело, это считается унижительным, но голод берет верх и над привычкой

к лености, и над предрассудками. Потомки разбойников мало-по-малу становятся трудящимися людьми, а современем станут и честными людьми. Но доживут ли они до той поры, когда привычка к труду разовьёт в них честность!—Государство их придет к тому состоянию, в каком находилось перед их завоеванием: большинство военного сословия отвыкнет от военного дела, масса населения останеся, как прежде, вовсе чужда этому ремеслу. Число опытных воинов будет невелико. А что делается между тем в степях и горах, или тех самых, из которых вышли завоеватели, или в других, соседних! Там продолжается прежнее: полудикие племена дерутся между собою, временами соединяются под начальством победоносного вождя и, как соединятся, идут грабить цивилизованных соседей. С государством, основанным полудикими завоевателями, более или менее цивилизовавшимися, теперь повторяется та же история, какой подверглась эта страна перед их успешным нашествием. Их малочисленные опытные воины отражают нашествие дикарей. Но при пятом или десятом нашествии обстоятельства сложатся так, что дикари, много раз побитые, одержат, наконец, победу, прежние завоеватели будут истреблены, прогнаны или поработены новыми.

Таких фактов в истории человечества очень много; при каждом из них издавна сделана одна и та же патетическая надпись, восхваляющая новых победителей за их доблесть, позорящая побежденных, как людей изнежившихся, трусливых, развратных, подлых.

В чем состояла их изнеженность? Небольшая часть их, составлявшая высшее сословие, приходила пировать, как пировали ее предки-дикари, каждый день, в который имели пищу и одуряющие напитки; огромное большинство бросило эти грубые пороки обжорства и пьянства, обратилось из тунядцев в трудящихся людей. Работа земледельца или ремесленника изнеживает ли человека? Огромное большинство победителей сделалось лучше своих предков во всех отношениях, кроме одного: оно перестало разбойничать. Это, разумеется, нравственная порча, потому что нет на свете людей такой высокой нравственности, как разбойники. По крайней мере, так утверждают народные сказки о разбойниках и большинство историков, легковерно, как дети, слушающих сказки.

Не будем же спорить: побежденные всегда пусть будут предметами поругания для нас, победителей будем прославлять, кто бы ни были они. Но ни народные сказки о разбойниках, ни раболепные панегирики летописцев, которые восхваляли завоевателей своей страны, поработителей своего народа за подачку от новых повелителей или по трепету перед ними, ничего не говорят ни о дряхлости народов, ни о свежести их. Не отваживаясь подвергать сомнению нравственные суждения таких авторитетных источников, как сказки о разбойниках и панегирики льстецов, рассмотрим по крайней мере в те мысли, какими дополняют и украшают эту ложь ученые изобретатели оправданий опустошителям цивилизованных стран. Дикари, покорившие цивилизованную страну, были народ молодой, свежий. Цивилизованное население, половину которого они перерезали, а другую поработили, были народ одряхлевший; они имели умственные и нравственные силы, способные к высокому развитию; он истощил свои силы, был народом уже отжившим и возродился благодаря тому, что сожительство победителей с его женщинами обновило его силы примесью молодой крови.

Что такое молодой народ? Каждый человек, не умерший преждевременно, бывает сначала молодым, потом пожилым, а потом, если доживет до глубокой старости, то и дряхлым. Но это факты индивидуальной жизни. Каждое племя, пока существует, состоит из людей всякого возраста, от новорожденных младенцев до дряхлых стариков и старух. Сколько свежих сил было в нем за тысячу лет до данной эпохи, столько же остается и в эту эпоху, столько же останется и через тысячу лет, если оно не будет пере-

резано врагами; и дряхлости нет теперь и никогда не будет в нем больше того, сколько было при первом упоминании о нем в летописях.

«Но это значит неправильно толковать исторические понятия о молодости и дряхлости народов». Само собою разумеется, что когда вы постараетесь раскрыть, какой смысл имеют слова, повторяемые человеком с чужого голоса без понимания их действительного смысла, то обыкновенно окажется, что он не предполагал в них того смысла, какой имеют они.

Но пусть слова «молодой» или «свежий» и «одряхлевший» или «отживший» народ будут признаны выбранными неудачно и отброшены; не останется ли тогда какой-нибудь доли правды в мысли, которая имеет вид нелепого вздора при употреблении этой метафорической терминологии, уподобляющей народ отдельному человеку, т. е. заменяющей лес одним деревом, луг — одной былинкой травы. Нет, не только терминология фальшива, но и мысль, неудачно облеченная в нее, совершенно ошибочна в своей сущности. Было между учеными мнение, будто бы дикари — люди несравненно более сильнее и здоровые, чем соплеменники этих ученых; они видели в своем народе множество людей болезненных, слабосильных, да и здоровых, сильных людей справедливо считали не сказочными атлетами. До них доходили слухи о дикарях громадного роста и страшной силы; они верили и делали вывод: цивилизованная жизнь уменьшает рост, ослабляет здоровье, отнимает физическую силу; образ жизни дикарей делает их людьми вполне здоровыми и необыкновенно сильными; это и оставалось так, пока путешественники, посещавшие страны дикарей, не возили с собой динамометров. Но как стали давать дикарям пробовать силу на динамометрах, оказалось: есть очень немногие племена дикарей, у которых взрослые мужчины имеют приблизительно такую же силу, как матросы кораблей, на которых ездят путешественники к дикарям, и как сами эти ученые; а в огромном большинстве диких племен взрослые здоровые мужчины имеют гораздо меньше силы, чем европейцы или северо-американцы. Когда увидели это по динамометрам, то вспомнили: у прежних путешественников уже говорилось, что редко можно встретить между дикарями такого сильного человека, которого бы не поборол матрос, не считающийся особенно сильным между своими товарищами; что, вообще говоря, матросы очень легко одолевают дикарей в борьбе и других играх, служащих испытанием силы. Прежде эти свидетельства старых путешественников были пропускаемы без внимания, потому что не представляли сказочного интереса, и кабинетный ученый, рассуждая о силе дикарей, помнил только сказочные анекдоты, понравившиеся ему в детстве, врезавшиеся в его память. То же самое оказалось и относительно знаменитого железного здоровья дикарей: пока врачи, находившиеся на кораблях экспедиций, посылаемых для географических исследований, не обращали внимания на дикарей, эти люди оставались не подвержены никаким болезням. А когда врачи всмотрелись в них, то оказалось, что вообще они — люди более болезненные, чем европейцы или северо-американцы. А когда было найдено все это, физиологи нашли, что иного и не должно было ожидать: бедняги не защищены ни от каких влияний, дурно действующих на здоровье, едят плохую пищу, обыкновенно имеют обычаи, вредные для здоровья, — как же им быть людьми крепкого здоровья и сильными! Образ жизни огромного большинства их таков, что не могут не быть они людьми болезненными или слабосильными.

Но эти правильные понятия излагались в книгах, которыми не пользовались историки при своих трудах, и потому в большинстве исторических трактатов благополучно держатся выводы из сказочных представлений о железном здоровье и удивительной силе дикарей, потому-то и продолжает в истории каждый полудиккий народ быть молодым и свежим, а каждый цивилизованный народ — обреченным одряхлеть или уже одряхлевшим.

Полудикие народы, вообще говоря, менее болезненны и слабосильны, чем дикари, потому что их образ жизни менее вреден здоровью, и они меньше голодают. Но тоже, говоря вообще, они здоровьем и мускульной силой далеко не равняются с большинством цивилизованных народов, потому что больше их бедствуют от непогоды и холода.

Опустошения цивилизованных земель варварами приносят человечеству и другую пользу, не менее важную, чем то, что примесью свежей крови обновляется жизнь одряхлевших цивилизованных народов: завоеваниями создаются обширные государства; под единством власти исчезают племенные различия, из мелких племен создается большая нация.

Так ли это? — В большей части случаев ничего подобного не бывает. Те силы, которыми сглаживаются племенные различия, принадлежат разряду иному, чем истребление людей и порабощение их. Пересмотрим важнейшие примеры довольно долгого существования обширных государств, основанных завоеванием.

До Кира мидяне и бактрийцы были племенами одной нации, говорили наречиями, очень мало различившимися одно от другого. Через двести лет, при падении персидского царства, мы видим, что эти племена по прежнему говорят одним языком; но распространился ли язык владычествовавшего народа за прежние свои пределы? В бассейне Тигра и Евфрата по прежнему владычествует семитический язык; нечего говорить о том, распространился ли персидский язык дальше на запад, когда он не мог перейти за Тигр.

Александр Македонский покоряет персидское царство, и все оно, за исключением Малой Азии, остается под властью Селевкидов. Через полтора столетия что мы находим в Сирии, которая, скоро по основании царства Селевкидов, стала той областью, на которую сильнее всего действовало влияние греческих владык бывшего персидского царства? Резиденция Селевкидов — Антиохия — греческий город; есть в Сирии некоторые другие греческие города. Но каким языком говорит все остальное население Сирии? — По прежнему семитическим. О других областях бывшего персидского царства нечего и говорить, эллинизировались ли они. Через несколько времени Малая Азия, Сирия становятся подвластны римлянам; проходит несколько столетий; правители этих земель, говорившие латинским языком, заменяются византийскими греками; находят ли греческие правители Малую Азию и Сирию латинизированными? Через несколько столетий владыками Сирии становятся турки; ныне на каком языке говорят сирийцы? На семитическом, как до турков, византийцев, римлян, прежних греков и персов.

«Но в Малой Азии было много греческих городов, и вероятно вся западная окраина ее и западная половина северной имела греческое население». Да, но как оно возникло там? Основывались маленькие города переселенцами, плывшими в каждую местность особым обществом. Возникавшие города были каждый особым маленьким государством; некоторые из них, благодаря развитию своей торговли, становились многолюдны, основывали новые колонии; один Милет основал несколько десятков городов; но и эти города не были соединены с Милетом никакой государственной связью. Каждый, с самого основания, был особым государством, независимым от Милета. Помешало ль это всем колониям Милета сохранять ионийское наречие! И произошло ль ионийское наречие в дорийские города Малой Азии, не бывшие под властью ни у какого из ионийских городов?

«Но греческие города на берегах Малой Азии были основаны силой оружия». — Разумеется, во многих случаях дело не обходилось без драк с туземцами. Только не должно преувеличивать важность их, а во многих других случаях дело было с самого начала полюбовным соглашением. Колонизация берегов Малой Азии имела преобладающим характером дружеские торговые сношения новых поселенцев с мелкими соседними племенами; по-

том малоазийским грекам пришлось вести тяжелые войны, но для того ли, чтоб расширять пределы греческой колонизации? Нет, лишь для того, чтоб отбиваться от нашествия туземцев завоевателей, основавших довольно крупные государства через покорение мелких племен. Оборонительные войны — нечто совсем иное, чем завоевания; они — факты совершенно противоположного характера.

Пришли, наконец, из глубины Азии персы и покорили малоазийских греков, но нуждались в их услугах по многим техническим делам; благодаря тому они пользовались благосклонностью персидского правительства и расширяли свою торговлю; потом, кроме греческих художников и врачей, персам понадобились греческие наемники. И что мы видим перед началом нашествия Александра на Персию? Греческий полководец — лицо более важное в персидском царстве, чем ближайшие родственники царя: они просили царя дать прощение другому мятежному родственнику; это осталось напрасно; попросил за него грек — и царь простил его. Ясно, что управление персидским государством начинало подчиняться греческому влиянию. Персидские полководцы не согласились принять план войны, предложенный греческим товарищем их, и потерпели поражение; персидский царь отдает всю западную половину государства под управление этого грека, и он дает войне такой оборот, что Александр со всем своим войском погибнет, если не поспешит переправиться через Геллеспонт домой в Европу, пока еще может. Смерть грека, главнокомандующего персидских войск и правителя западной половины персидского царства, спасает Александра. Персидские полководцы не умеют вести войны и, к довершению бед, сам Дарий Кодоман вмешивается в управление военными действиями. Александр побеждает в двух великих битвах; победы блистательны, но достаются тяжело. Кто же те враги, которых тяжело победить? Это греки, поступившие на службу к персидскому царю. Не ясно ли, что и без походов Александра греки захватывали фактическое преобладание в персидском царстве! Говорят, он распространил влияние греческой цивилизации на земли этого царства. Мы видели, что через полтора столетия оно оказалось мало распространившимся за прежние пределы, и можно поставить вопрос: не помешал ли Александр его распространению, раздражив национальные чувства персов и других народов персидского царства? Само собою разумеется, что на вопросы подобного рода нельзя находить достоверных ответов. Но ученые, выставляющие решенными вопросы противоположного значения, принуждают говорить: то ли было, что утверждаете вы, — посмотрим, не более ли вероятно, что факты имели значение прямо противоположное тому, какое вы придали им. Какой ход имели бы дела, если бы не умер Мемнон Родосский и если бы, как это очень вероятно, Александр был бы или взят в плен, или прогнан домой с ничтожным остатком войска! Правда, мы не сможем найти, что было бы в этом случае; но когда нельзя сказать, какие последствия имело бы предотвращение завоевания, то нельзя говорить, что это завоевание было полезно распространению греческой цивилизации. Мы видим, что со времени Дария Гистаспа влияние греков на управление персидским царством росло до самого разрушения этого царства Александром. Через двести лет после Александра мы видим, что греческая цивилизация осталась только в некоторых городах Сирии за теми границами, до каких уже расширилось греческое население раньше Александра.

Необходимо ли владычество более цивилизованного народа над менее цивилизованным для того, чтобы менее цивилизованный усвоил себе те знания и обычаи, которыми возвышается над ним более цивилизованный? Теперь говорят, что завоевания парфян были проявлением реакции национального чувства персов против греческого владычества; говорят, что население Мидии и собственной Персии принимало парфян, как освободителей.

Так ли или нет, мудроно решить. Но, во всяком случае, парфяне были врагами греческих правителей и войск в землях, на которые нападали. Они успели завоевать области царства Селевкидов до пустыни между средним течением Тигра и Евфрата. Через полтораста или двести лет после того, как они перерезали и прогнали греков из своего расширявшегося царства, пошел на них Красс, погиб с большей частью войска; голову его отрезал парфянский главнокомандующий и послал своему царю. Когда гонец подъехал к царскому дворцу, там было развлечение. Царь и двор сидели в театре, шла трагедия. Актер, игравший одну из ролей, взял голову Красса, вышел на сцену, показал голову царю и публике, произнес стихи своей роли, совершенно соответствующие этому показыванию: «Вот, я несю отрубленную голову» и т. д. в этом смысле. Благодаря занимательности анекдота, он был записан и дошел до нас. А благодаря тому, мы знаем, что парфянский царь и его двор слушали греческую трагедию на греческом языке. Что ж, в качестве греческих подданных научились они греческому языку, и насильно гоняли их греки в театр, чтоб они полюбили бывать в нем? Перейдем из парфянского царства в Мекленбург. В X веке там жили славяне; в XV веке все население Мекленбурга говорило по-немецки; была когда-нибудь в этот промежуток времени хоть какая-нибудь часть Мекленбурга под немецкой властью. Часть была, но не долго. На остальном пространстве непрерывно сохраняла владычество славянская династия; под него возвратился и Шверин, попадавший на несколько времени под немецкую власть. Пусть в это время был введен в Шверине насильем немецкий язык. Но каким образом заменился им славянский в остальном Мекленбурге! История Силезии не оставляет места никакому насилью при замене славянского языка немецким. Славянские династии продолжали владычествовать над всеми частями Силезии, когда славянское население Силезии уже говорило вместо прежнего своего языка немецким. Словаки издавна жаловались на то, что венгры угнетают их национальность, принуждают их говорить по-венгерски. Когда начались порядочные этнографические исследования, в северной части венгерского государства оказалось, что многие селения по границе словацкой и венгерской народностей, говорившие на памяти старожил по-венгерски, стали словацкими. При следующих переписях оказывалось, что это превращение венгерской окраины в словацкую землю подвигается дальше и дальше. Так ли или нет, разобрать мудроно. По всей вероятности, жалобы венгров на расширение словацкой национальности так же преувеличены, как и жалобы словаков на венгерские притеснения. Но во всяком случае видно, что словацкая национальность не сжимается на счет венгерской. В южном Тироле граница итальянского языка подвигается к северу, захватывая селения, говорившие прежде по-немецки, это уже факт. Тирольские итальянцы живут под владычеством немцев. В своих жалобах на утрату северной окраины своей национальности венгры сами объясняют, каким образом идет дело: словаки трудолюбивы. Когда продается участок земли в пограничном венгерском селении, часто бывает, что его покупает словак, имея больше денег, чем венгерские домохозяева этого селения. Через несколько времени большинство домов оказывается во владении словаков; венгерское меньшинство привыкает говорить на языке большинства. То же самое рассказывают тирольские немцы, жалуясь на то, что итальянцы оттесняют их язык к северу. Таких примеров можно набрать сотни и тысячи.

Для того, чтобы границы народности расширились, нет необходимости в завоеваниях.

Но каким же образом мелкие государства соединятся в большое без завоевания всех каким-нибудь одним? У герцога аквитанского была дочь; она вышла за короля французского. В какие отношения стали ее владения

к французскому королевству? Через несколько времени король французский развелся с нею, и Аквитания снова отделилась от французского королевства. Но не всегда же мужья разводятся с богатыми женами. Короли кастильские вели много войн с арагонскими, желая присоединить их государство к своему. Что выходило из этого? Ничего, кроме опустошения арагонских земель, а часто и кастильских, пограничных с арагонскими. Каким же образом соединились, наконец, Кастилия с Арагонией? Наследник арагонского королевства женился на наследнице кастильского. Несколько столетий английские короли ходили в Шотландию, чтобы покорить ее, а шотландцы, отчасти в отмщение, отчасти просто по желанию грабить, опустошали северную Англию. Но в промежутки войн английские и шотландские короли роднились между собою, и дело, которого невозможно было совершить вековыми войнами, завершилось тем, что шотландский король получил английскую корону по праву законного наследника, приглашаемого самими англичанами вступить в управление их государством.

Вопрос о том, как формируются обширные и прочные государства, очень запутан, потому требует подробного анализа, которому не место здесь. Теперь мы сделаем только краткое изложение общего хода фактов. При начале наших сведений о народах, игравших важную роль в истории западной половины Азии и южной Европы, мы видим, что они уже многолюдные народы, занимающие каждый большое пространство. Не будем разбирать предположений, как это произошло, ограничимся пересмотром достоверных фактов позднейшего времени. С каких-то, очень давних, времен племена персидского народа, говорящие или совершенно одним языком, или наречиями его, мало отличающимися одно от другого, составляют или единственное, или почти единственное население Бактрии, Мидии и собственно так называемой Персии. Теперь, через 2 500 или 3 000 лет более ли широки границы персидского языка? Если нет, то какую же пользу расширению персидской народности принесли завоевания Кира и его преемников? В древнейшие времена, о каких мы имеем предания, восточная граница семитических народов была та же самая, как теперь; и на север они не расширились дальше первоначального положения своей границы. Но на западе они проникли очень далеко. Египет стал арабской страной; по всей Африке на севере от Сахары арабы недавно были господствующим народом и теперь образуют значительную часть населения. Это — результат завоевания. Но какую пользу принес он развитию человечества? Египет по завоевании арабами никогда не подымался на ту высоту цивилизации, на какой стоял до них; цивилизация, которая уцелела в той части северного приморья, которая не была завоевана вандалами или восстановилась по возвращении опустошенной ими части приморья...